

СИН ТАК СИС



34

СИНТАКСИС

ПУБЛИЦИСТИКА

КРИТИКА

ПОЛЕМИКА

34

ПАРИЖ

1994

Журнал редактирует:

М. РОЗАНОВА

The league of Supporters: Л. Баткин, Л. Богораз,
Т. Венцлова, Ю. Вишневская, И. Голомшток,
А. Есенин-Вольпин, Д. Каминская, П. Литвинов,
М. Окутюрье, Т. Толстая, В. Турчин,
А. Френдли, Е. Эткинд

**Мнения авторов не всегда совпадают
с мнением редакции**

© SYNTAXIS 1994

Адрес редакции:

8, rue Boris Vildé
92260 Fontenay aux Roses
FRANCE

Тел.: (1) 46 61 28 38

Абрам Терц

ПУТЕШЕСТВИЕ НА ЧЕРНУЮ РЕЧКУ

Пушкин обожал записывать и рассказывать друзьям анекдоты. Два анекдота он подарил Гоголю – «Ревизор» и «Мертвые Души». Ох, как жалостно суетился и увивался за ним Гоголь: «Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь, смешной или не смешной, но русский чисто анекдот... Сделайте милость, дайте сюжет, духом будет комедия из пяти актов, и клянусь, будет смешнее чорта. Ради Бога» (7 октября 1835 г.).

И Пушкин – расщедрился. С признательностью за ценный презент Гоголь помянул Пушкина в «Ревизоре». И не только в размашистых, нахальных речах Хлестакова, что, мол, с Пушкиным он на дружеской ноге. Весь «Ревизор» благодарно посвящен и отослан Пушкину ответной курьерской почтой:

«Спешу уведомить тебя, душа Тряпичкин, какие со мной чудеса... Оригиналы страшные: со смеху ты бы умер. Ты, я знаю, пишешь статейки: помести их в свою литературу... Я сам, по примеру твоему, хочу заняться литературой. Скучно, брат, так жить, хочешь наконец пищи для души. Вижу: точно, нужно чем-нибудь высоким заняться». Кто же этот затерянный в холодном Петербурге Тряпичкин? Судя по всему, богохранимый Феофилакт Косичкин, комиче-

ский псевдоним Пушкина, пописывающего в журналах «статейки». Вокруг Косичкина и его «статеек» разбушевалась в свое время в стакане своя драма Скриба. «Вчера у новорожденного Дмитриева читали мы Косичкина и очень смеялись», – докладывал Пушкину князь Вяземский (11 сентября 1831 г.). А Пушкин перебрасывал желанный мячик Языкову: «Феофилакт Косичкин до слез тронут вниманием...» (18 ноября 1831 г.). Гоголь тоже был не прочь поиграть с Косичкиным, да не потрафило: «Прощай, душа Тряпичкин...»

«Непристойно Поэту надевать на благородное лицо свое харю Косичкина и смешить ею народ...» – выговаривал позднее, поджав губы, педант Катенин. Но Пушкин любил маскарады, мистификации, пастиши. Недаром он мечтал анонимно выпустить «Капитанскую Дочку», будто бы ее намарал бывший прапорщик Гринев. Оттуда же вылетели покойный Белкин, «Рославлев (Отрывок из неизданных записок дамы)» и многое другое. Пушкин завидовал Мери-ме, надувшему самого Пушкина, и уважал «Письмовник» Курганова с «полезнозабавным вещесловием» и «замысловатыми повестями». Последуем его примеру.

В новейшем «Волшебном Кабинете» (СПб., 1810) среди прочих диковин значится задача – как «произвесть на бале всеобщий смех»: «Для произведения сего действия надлежит заранее усыпать пол той комнаты, где танцовать намерены, черемичным порошком, который, когда откроется бал, от шаркания и длинного женского платья поднявшись с пылью вверх, заставит все собрание чихать и смеяться».

Но как раздобыть нам сейчас черемичный порошок? И где длинные у дам туалеты? Зато не вызывает сомнений и вздорных кривотолков второй сногшибательный опыт из того же «Кабинета» – скинуть железные цепи с ног с помощью обыкновенной веревки. Эффектно и просто преподносится концовка: «Чтобы сей фокус был забавнее, то можно наперед похвастаться, что ты некогда и негде был заключен в оковы и силою искусства своего освободился».

Силою искусства? Силой, прямо сказать, поэтического слова...

К кому и к чему только ни прилепляется наш Пушкин! Один его великий сподвижник настаивал, что Пушкин был тем особенно славен и любезен народу, что в подражание

Жуковскому и С. Михалкову досочинил гимн «Боже, царя храни». И сделал это, представьте, в семнадцатилетнем возрасте...

Другой старик-диссидент, умирая в тюремной больнице, не уставал повторять, будто Пушкин потому знаменит, что «вслед Радищеву восславил он свободу и милосердие воспел».

А третий прочел по складам «Клеветникам России» да как вдарит по клавишам: «Иль нам с Европой спорить ново? Иль русский от побед отвык?»

Между тем над всеми заказами у Пушкина струится голубой немеркнущий свет: «Веленью Божию, о Муза, будь послушна...» И если уж искать у него охранительные мотивы, то стоит вспомнить в первую очередь Пимена и Татьяну. Ну еще, на крайний случай, Савельича. Гоголь, к своему стыду, сумел предложить лишь двадцатипудового Тараса Бульбу. Толстой рекомендовал Платона Каратаева. Достоевский – Алешу, Зосиму и князя Мышкина. Истинная роль этих героев в их бескорыстной, бесплотной, даже у сумрачного оратора Тараса Бульбы, отрешенности от жизни. И Татьяна, и Савельич, и Мышкин, и Пимен, и Платон Каратаев, и Алеша Карамазов – иными словами, все наши возвышенные идеалы в литературе прошлого века – не люди, а скорее духи, парящие над Россией и Россию охраняющие, Россию осеменяющие в виде призрачного тумана, но в ее реальный, телесный состав почти не входившие. А так, сверху летают. Без них России бы не было. Но практическая, нормальная российская действительность без них превосходно обходится. Это, повторяю, лица не от мира сего, это «гении» России, и место им в легендах, в монастыре, на том свете. Не на очарованном же страннике замешивать и строить державу.

Из предметной же материи Пушкин крепче всего привязывался к старинному патриархальному быту допушкинских времен: «Они хранили в жизни мирной привычки милой старины» (какое протяжное, на две строки, завораживающее «и-и»). Воображаю, как было бы ему утешительно читать «Рассказы Бабушки» (Елизаветы Петровны Янковой), доживи он до их публикации. «Помнить себя стала я с тех пор, когда Пугачев навел страх на всю Россию. Как сквозь сон помнятся мне рассказы об этом злодее... Так что

и ночью-то бывало от страха и ужаса не спится: так вот и кажется, что сейчас скрипнет дверь, он войдет в детскую и нас всех передушит. Это было ужасное время!»

Похоже на сон Гринева. Бабушке тогда исполнилось всего четыре года... Впоследствии ей довелось познакомиться с другой бабушкой, которая сетовала на своего увальня-внука.

«Иногда мы приедем, а он сидит в зале в углу, огорожен кругом стульями: что-нибудь накуралесил и за то оштрафован, а иногда и он с другими пустится в плясы, да так как очень он был неловок, то над ним кто-нибудь посмеется, вот он весь покраснеет, губу надует, уйдет в свой угол и во весь вечер его со стула никто тогда не стащит: значит, его за живое задели и он обиделся; сидит одинешенек. Не раз про него говаривала Марья Алексеевна: «Не знаю, матушка, что выйдет из моего старшего внука: мальчик умен и охотник до книжек, а учится плохо, редко когда урок свой сдаст порядком; то его не расшевелишь, не прогонишь играть с детьми, то вдруг так развернется и расходится, что его ничем и не уймешь; из одной крайности в другую бросается, нет у него середины. Бог знает, чем все это кончится, ежели он не переменится». Бабушка, как видно, больше других его любила, но журила порядком: «Ведь экой шалун ты какой, помяни ты мое слово, не сносить тебе своей головы».

Не знаю, каков он был потом, но тогда глядел рохлей и замарашкой, и за это ему тоже доставалось... Мальчик Грибоедов, несколькими годами постарше его, и другие их товарищи были всегда так чисто, хорошо одеты, а на этом всегда было что-то и неопрятно, и сидело нескладно» («Рассказы Бабушки». Записанные и собранные ею внуком Д. Благово. СПб., 1885).

Ближе к натуре Пушкина мемуаров я не встречал. Снисходя к ребенку, седенькая фея словно позабывает, что с ним случилось и чем он кончил потом, избегая называть нашего замарашку по имени, а мы видим: Пушкин! Ведь рукой подать. Могли бы легко пересечься в будущем. Пушкин почитал словоохотливых, информированных старушек. Поболтали бы о Гринева, огороженном Белогорской стеной, будто маленький Пушкин стульями. Помянули бы Пугачева, императрицу Екатерину Великую и незадачливо-

го Петра III, чей манифест об отречении напечатали в газетах, а спустя тридцать лет с лишним, как это водится у нас, начали вдруг изымать и жечь. А главное, оставался шанс – еще раз намекнуть Пушкину: «не сносить тебе головы!» Как в воду смотрела бабушка.

Помимо дивных обычаев, Пушкину был внятн спокойный и рассудительный голо с исчезнувшего столетия: «Спать должно в месте тихом и темном». «Благоразумное наслаждение приятными для внутренних и наружных чувств предметами способствует продлению жизни».

Звучит по-пушкински.

Бросается в глаза и отрадный его сердцу светлозеленый цвет как средство упрочить и поправить ослабевшее зрение. «Ходи рано по утрам до восхождения солнца на зеленеющее поле и в ту минуту, когда начнет появляться солнце, оборотись к нему спиною и смотри целый час на зелень. Употребя это средство раз пять или шесть сряду, приведешь свое зрение в состояние прежнее» («Новый истинный способ быть здоровым, долговечным, богатым и забавным в беседах». Москва, 1810).

В означенном Новом Лечебнике Пушкину, конечно, всего милее «быть забавным в беседах». К сожалению, рецепт утерян и упомянут лишь в рекламном заглавии, так же как, впрочем, и способ «быть богатым». Береги, дескать, здоровье, а все остальное приложится. Пройдись по свежей траве на рассвете, и зрение обновится. «Мать беременна сидела, да на снег лишь и глядела!» И, глядишь, родила красавицу. Как все просто!

Но трижды обманется тот, кто гений Пушкина спутает с его простотой и естественностью слога. Простота еще никого не доводила до добра. Естественного языка изящная словесность не знает. Встречаются лишь его имитации. Какая же это естественность, допустим, если автор зачем-то ее укладывает и оснащает стихами? А проза и того хлеще. Уходя в глубину и увиливая, разбегаясь по сторонам, она заполняет собою несколько смысловых отсеков и, чем прозрачнее звенит, тем бывает загадочнее. Всегда в ней, мнится, что-то прячется, и до конца не докопаться. Есть в ней второй, и третий, и пятый пласт бытия. Пусть наружно писатель находится в верхнем слое. Пускай он, кроме Гринева, ни о ком не помнит. А вы попытайтесь понять. Вести

невидимый образ жизни, действовать скрытым маневром – в крови писателя. При всей бедности – царство. При всей ординарности – фреска. Какие приключения разворачиваются у него в голове! Не потому ли художнику веселее и привольнее живется, нежели дошлomu, прожженному, преуспевающему дельцу? Полная противоположность. Отсюда союз искусства с любовью, с верой в Бога, с природой, с историей и другими видами подспудной жизни, включая заведомый интерес к преступлениям, при отсутствии, однако, подлинной к ним способности. Не то, чтобы гений был непременно светел. Просто эти процессы идут на разных уровнях: во вне или внутри. Во вне – Сальери. Таинственные движения Моцарта исповедимы... В итоге авантюрные и детективные романы произросли из той же поэзии. Исследование тайных путей искусства, а не полицейский отчет. Начнем.

1

«Путешествие нужно мне нравственно и физически», – уведомлял Пушкин Нащокина в феврале 1833 г. Но вместо обещанного и дозволенного Дерпта, по какому-то нашептыванию, поскакал на Восток, к Уралу, чему сам царь удивлялся, и вывез оттуда в кибитке «Капитанскую Дочку».

Из письма жене, август 1833 г.: «Вот тебе подробная моя Одиссея. Ты помнишь, что от тебя уехал я в самую бурю. Приключения мои начались у Троицкого моста. – Нева так была высока, что мост стоял дыбом... Чуть было не воротился я на Черную речку. Однако переправился через Неву выше и выехал из Петербурга. Погода была ужасная. Деревья по Царскосельскому проспекту так и валялись, я насчитал их с пятьдесят. В лужицах была буря. Болота волновались белыми волнами. По счастью, ветер и дождь гнали меня в спину...»

Вот и у нас в Париже в начале февраля разразилась настоящая буря. Едва я, распрощавшись с Машей, прикатил к Елисейским полям и устроился на заветной скамеечке кормить сдобными крошками голубей и воробьев, вижу, ни души. А я-то знал их уже в лицо, пофамильно. Журил, когда дрались из-за моей корки. Воспитывал. Читал стихи. Глаза – две пуговки по сторонам обшлага. И они меня тоже знали

в лицо, птицы. И вдруг – исчезли. И в ту же минуту подул ветер в спину такой силы, что я подхватил лекции, очки и пустился напропалую, не дожидаясь своего часа. Пройти оставалось метров триста-четыреста. Мостовая была устлана трупами отлетевших деревьев. Сучья валились с неба, не говоря уже о картонных коробках и тяжелых кусках жести, время от времени падавших на голову. Потом передавали по радио, во Франции имелись жертвы. Застекленная крыша треснула над моей головой. «Ну, барин, беда: буран!» – сказал я самому себе, а в мозгу словно отгиснулось: «Точность и краткость – вот первые достоинства поэзы».

Париж, в подражание Пушкину, избображал собой непогоду. Статуи вертелись, пока я не заметил, что это хохлятся голуби. За неимением снега в глаза хлестало гнилым песком. Боже, – я подумал, – невозмутимый самолет норовит пробиться в Москву, перейти границу, и как там сейчас кувyrкается в небесах моя бедная Маша? Одно спасение: успели взять потолок, одолеть барьер и выскочили из безумного вихря. А что, если циклон гуляет по всей Европе? В Санкт-Петербурге, судя по письмам Пушкина, ураганы бушевали уже в августе! А теперь – февраль! Перебираю усиками. Нюхаю. Самый для меня ненадежный и подозрительный месяц – февраль. К чему же такая буря настигла Пушкина в августе, на даче, на Черной речке, перед отъездом в Оренбургскую степь? Не ко встрече ли с Пугачевым? С вакханалией? «Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный!»

Надо ли уточнять, что до Гран Пале я добрался на карачках? А когда, спроворив занятия, влекся на метро к дому, сделалось еще мрачнее. В полупустом вагоне молодая, приличная дама, в бежевом дорогом пальто, с коричневыми кругами у глаз, поднялась во весь рост и стала выкликать по-французски непристойные ругательства. Ни к кому не обращаясь, в пространство. Я потом проверял по словарю: очень непристойно. А тогда изо всех сил старался на нее не смотреть, с ужасом понимая, что это действует переменчивый климат на переменчивый организм. Там, на поверхности, наверху, бушевали ветер и дождь, а тут, под землей, в унисон неистовствовала и бесновалась вакханка. Женщины, я уверен, подверженнее нас влиянию погоды. Если даже у меня, у благоразумного зрителя, наблюдался подъем

нервов, что же спрашивать с других? И всю ночь в эти жуткие сутки на дворе кошки мяукали. И не то, чтобы обыкновенно мяукали, а буквально выли всю ночь озябшими голосами. И у Анны в то же утро началась, как она подсказала по телефону, весенняя аллергия.

Но отчего же все-таки свирепствовал ураган в августе 1833 года в пушкинском Петербурге? Понятно, ураган навел автора на благую мысль о буране, из которого очень скоро вылупился Пугачев в «Капитанской Дочке». Когда бы не буран – и не подарил бы Гринев жолатому заячий тулупчик, оказавший столько услуг бывшему хозяину. С другой стороны, снежная буря в степи явилась достойной прелюдией и символом революции, подхваченной нашими классиками, что тоже плотно ложится на пугачевский бунт. В-третьих, буран, развивая пушкинскую тему «Метели», соединит в итоге любящие сердца заглавных персонажей романа. «И куда спешим? Добро бы на свадьбу!» – ворчит верный Савельич, попав с барином в буран, не подозревая, насколько в данном случае он прозорлив и дальновиден. Правда, ехать на свадьбу досталось долгим и окружным путем, обращенным в великолепный сюжет «Капитанской Дочки», вместивший уйму лиц, картин и обстоятельств.

Все это так, разумеется. Однако литература пока что, даже пушкинской красоты и силы, еще не оказывала столь крутого воздействия на погоду, и приходится в этом вопросе вставать на более, как это ни грустно, материальную и научную почву. Ограничимся суммой гипотез, предчувствий и предсказаний пушкинского круга. Ведь заяц, допустим, перебегавший дорогу Пушкину, тоже, по-видимому, не имел прямого влияния на ход событий, а Пушкин, известно, зайцу доверял и заворачивал коней. Так и буря, к тому же неурочная, могла нести потаенный предзнаменовательный смысл, дурной или хороший, или сразу оба. Хороший, потому что свидание с Пугачевым и пугачевщиной все же состоялось, к славе и пользе Пушкина с его «Капитанской Дочкой». Дурной: неуместная буря разыгралась в августе, а в сентябре того же 33 года в столицу тихой сапой въехал Дантес.

Ах, лучше бы Пушкину не накликал беды, выезжая на пугачевские сборы. При всей любви к «Капитанской Доч-

ке», мы Пушкина любим больше и мысленно пускаемся в праздную риторiku, зная наперед, что она не оправдает себя и Пушкин нас не послушается, как не слушался он собственной пронизательной бабушки. Ну, чего ему не хватало в жизни? Признанный и знаменитый к тому моменту поэт. Привлекательная жена. Очаровательные дети. Семейный человек. Что ему не сиделось на месте?

Завернув из оренбургской поездки в Болдино, Пушкин писал жене (2 октября 1833 г.): «В деревне Берде, где Пугачев простоял 6 месяцев, имел я une bonne fortune – нашел 75-летнюю казачку, которая помнит это время, как мы с тобою помним 1830 год. Я от нее не отставал, виноват: и про тебя не подумал. Теперь надеюсь многое привести в порядок, многое написать и потом к тебе с добычею».

Такова завязка едва намечавшегося романа, съезжавшая с 33 года, с распаханных пугачевских сокровищ (в рассказах старой казачки, в частности) в пугающую достоверность 1830 года. Пугачева и пугачевщину, в общем-то, можно, оказалось, потрогать точно так же – «как мы с тобою помним» о делах недавних, интимных, семейных и драматических. Ну как я тебе писал тогда, из Болдина, любя и бесясь, помнишь?

У фотографов это называется «наведением на резкость». Ближе! ближе! ближе! Крупным планом! Снимаю! «Я взглянул на полати и увидел черную бороду и два сверкающие глаза». Хоть и шутливо, немного бравируя литературным своим увлечением, Пушкин сравнивает грубую деревенскую старуху с дражайшей Наталией Николаевной. В конце концов, и та и другая лишь свидетели происшедшего и натура для писателя, как, впрочем, и собственные его, человеческие подробности. Жестоко, конечно, но что поделаешь! Пушкин не уходит в историю, он ее припоминает как факт своей биографии и усаживает на лавку в кругу родного семейства. И разом все начинает пахнуть гарью... Вторая осень в Болдине, под прикрытием Пугачева, возбудила в памяти первую, полную треволнений, страстей, карантинных, застав и поэтического азарта. Вот чудесная смесь, возбудившая фантазию. Для созревания замысла ему недоставало препятствий. Чтобы расписаться влать – требовались рогатки. «Будь проклят тот час, когда я решил оставить вас и пуститься в эту прелестную страну грязи,

чумы и пожаров...» (Пушкин – Н.Н. Гончаровой, 30 сентября 1830 г., Болдино).

Отрезанный холерой, но в барском доме, с удобствами, отторгнутый от Москвы, от невесты с ее теплым боком, куда он мчится мыслями и летит на крыльях любви, однако, не дорываясь, не достигая на полпальца, осужденный влачить пустые длинные дни в сельском заточении, без цели, но уже холодный, созревший, вне возможности уехать, хотя и стремится, пытается, втайне постигший всю свою недолгую, необременительную тюрьму как дарованную свыше, однажды, раз в жизни, могущественную свободу, в лучшую пору возраста и погоды, возвращающей повторно, под старость, под скорую помощь, целомудренное рукопожатие юности, уже прошедшей, оконченной и все же посетившей его в эти считанные часы, – таким был Пушкин в ту Болдинскую осень...

2

Секрет «Капитанской Дочки» начинается с названия. Едва мы к ней подступаемся, нас как током отбрасывает: а причем тут, собственно, капитанская дочка? Самое невзрачное, бесцветное существо в романе. Марина Цветаева, так прекрасно писавшая о Пушкине и Пугачеве, недоумевает: «В моей "Капитанской Дочке" не было капитанской дочки, до того не было, что и сейчас я произношу это название механически, как бы в одно слово, без всякого капитана и без всякой дочки». «Маша – пустое место всякой первой любви...» Роман лишь теряет интерес и значительность в обществе «Марьи Ивановны, той самой дуры Маши, которая падает в обморок, когда палят из пушки, и о которой только и слышишь, что она "чрезвычайно бледна"» («Пушкин и Пугачев», 1937 г.).

Кажется, Марина Ивановна спорит не с Марьей Ивановной, а с Натальей Николаевной: «... Тяга гения – переполненности – к пустому месту... Он хотел нуль, ибо сам был – все». «Пустое место между сцепившихся ладоней действия. Разведите – воздух» («Наталья Гончарова», 1929 г.).

Но зачем же тогда, спрашивается, нуль выносить в заголовок самого своего большого предсмертного творения? К тому же все-таки пушкинская Натали – красавица, что

признает и Цветаева: «Было в ней одно: красавица. Только – красавица, просто – красавица, без корректива ума, души, сердца, дара. Голая красота, разящая как меч. И – сразила».

Ну а Маша? «...» «Да где же Маша?» – Тут вошла девушка лет осьмнадцати, круглолицая, румяная, с светлорусыми волосами, гладко зачесанными за уши, которые у ней так и горели. С первого взгляда она не очень мне понравилась...» Круглолицая? Румяная? С зачесанными за уши? В этом ли характеристика и отличие молодой особы? Так и в дальнейшем нигде ни Пушкин, ни Гринев не поминают особым образом наружность Марьи Ивановны. По-видимому: некрасива. Лишь Пугачев окликает. С Гринева достает, что, ближе познакомившись, «в ней нашел благоразумную и чувствительную девицу». В пушкинские времена таких были тысячи и десятки тысяч!

Негодяй Швабрин в «Капитанской Дочке» поет, желая оболгать Машу (а потом возводит на нее и другие напраслины):

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь.

Общий совет девицам. Все матери своим дочерям только и толкуют: не ходи гулять в полночь! (а те почему-то ходят и ходят). Но Маша, наша скромная пушкинская Маша из «Капитанской Дочки», никуда и не ходила гулять. Пугачевская ночь сама, накануне свадьбы, ее настигла вместе с трупами родителей. Говоря иными словами, Пушкин положил (поставил) Машу, в качестве фундамента, в самую черную, безвыходную могилу. И – воскресил.

В рукописной версии «Капитанской Дочки» цитата из народной песни Швабрина («Капитанская дочь, не ходи гулять в полночь») имела продолжение:

Заря утрення взошла,
Ко мне Машенька пришла...

Она пришла, наверное, после свидания с Екатериной Великой, возвестить Гриневу счастливый финал романа.

Заодно с Машей Мироновой в русской критике не повезло Петруше Гриневу. Он тоже – «никакой». Белинский, например, считал его характер – «ничтожным» и «бесчувственным». Вот уж чего-чего нельзя сказать о Петруше – «бесчувственный». Наверное, это пошло с Митрофана Простакова из комедии Фонвизина, от которой отправляется Пушкин в истолковании Гринева. Вспомним, во что вливается первая поворотная точка романа, после которой многообещающе сказано: «Тут судьба моя переменялась».

«Надобно знать, что для меня выписана была из Москвы географическая карта. Она висела на стене безо всякого употребления и давно соблазняла меня шириною и добротой бумаги. Я решился сделать из нее змея, и, пользуясь сном Бопре, принялся за работу. Батюшка вошел в то самое время, как я прилаживал мочальный хвост с мысу Доброй Надежды».

Проделка недоросля возмутила батюшку, и тот вместо Санкт-Петербурга послал сына в Оренбург, в противоположную, судя по географии и нравственному заданию, сторону. Но тот же эпизод послужит более внятной и основательной завязкой романа о длинном и полном невзгод путешествии Гринева ради достижения незабываемой капитанской дочки, оказавшейся для него – мысом Доброй Надежды. Приложением к географической карте станет «мочальный хвост» Пугачева со всей его растрепанной бородой мужицкого, пугачевского бунта. Знал, собака, заранее, что к чему прикрепить и приладить, чтобы получился сюжет: к идеальной и неподвижной Маше – всю сволочную, рышущую по азиатским окраинам историю русской смуты. И карточная дама поведет офицера в даль – сквозь бури и преграды...

Итак, руль поставлен и направлен: мыс Доброй Надежды (мыс Бурь – первоначальное название) играет у Пушкина роль подсобной аллегии, будучи одновременно настройкой на пародию и романтику дальних странствий. Не зря кибитка Гринева напоминает корабль: «Кибитка тихо подвигалась, то въезжая в сугроб, то обрушиваясь в овраг и переваливаясь то на одну, то на другую сторону. Это похоже было на плавание судна по бурному морю».

А к бумажным змеям Пушкин пристрастился давно. До Гринева другой Митрофан, Иван Петрович Белкин, постиг эту механику, положив в основание «Истории села Горюхина» (1830 г.) летопись местного дьячка, от которого он усвоил когда-то первые уроки словесности: «Сия любопытная рукопись отыскана мною у моего попа, женатого на дочери летописца. Первые листы были выдраны и употреблены детьми священника на так называемые змеи. Один из таковых упал посреди моего двора... С первых строк увидел я, что змей составлен был из летописи...»

Да и что такое летопись, в пушкинском понимании, если не рукописный змей? Из последнего сказания Пимена – о Борисе Годунове – выпорхнул самозванец. От «Истории Пугачевского бунта» отпочковалась «Капитанская Дочка». Закономерно, что Петруша Гринев, на свой страх и риск, принимается мастерить змея... Ему требуется взлететь. Над историей и над географией.

В романе Пушкина нетрудно обнаружить множество аллюзий на комедию Фонвизина. Более того, «Капитанская Дочка» произвольно опровергает стальную назидательную конструкцию Стародума: «Мы видим все несчастные следствия дурного воспитания. Ну что для отечества может выйти из Митрофанушки, за которого невежды-родители платят еще и деньги невеждам-учителям? Сколько дворянотцов, которые нравственное воспитание сынка своего поручают своему рабу крепостному! Лет через пятнадцать и выходят вместо одного раба двое, старый дядька да молодой барин».

Пушкин оспаривает эту классическую традицию. От воспитания, выясняется, в принципе ничего не зависит. Старый раб (верный пес) в сочетании с бывшим солдатом-парикмахером обучили Гринева всему необходимому. В частности, от невежды-француза перенял он уроки биться кое-как на шпагах и умение ладить с людьми. От Савельича – все остальное. То есть – сноровку, не утруждая себя излишними заботами, оставаться в первозданном облике доброго Митрофана. Главное, учителя ни в чем его не стесняют и накануне строгого отцовского решения отправить оболтуса в Оренбург, тот на семнадцатом годике ведет себя как ребенок: «Однажды осенью матушка варила в

гостиной медовое варенье, а я, облизываясь, смотрел на кипучие пенки».

Вдобавок, по наследству от Пушкина досталось Гриневу тайное доверие к судьбе. Иными словами, в роковых ситуациях он полагается на случай, «предав себя Божией воле». И этого капитала уже достаточно. «Делать было нечего» или «спорить было нечего» – таков рефрен «Капитанской Дочки», в особенности на первых страницах.

Словом, перед нами – простак. В отличие от Фонвизина с его Простаковыми, простак в положительном смысле слова. Говоря грубее – дурак. Но Пушкин устами Савельича аттестует его точнее и мягче: «– Ты видишь, что дитя еще не смыслит, а ты и рад его обобрать, простоты его ради».

В конце концов, наш недоумок, вослед фонвизинскому лоботрясу, мог бы бросить толпе зрителей крылатую фразу: «не хочу учиться, хочу жениться». Ну тут-то как раз Гринева поджидает казус. И жениться для него практически означает «учиться» независимо от собственной воли. Фигура антитезы, под пером Пушкина, превратилась в тождество: жениться – учиться.

В груди простофили зажегся огонь любви!

4

«Участь моя решена. Я женюсь...» – бросал Пушкин вызов небу. А параллельно долго мучился и обдумывал, что, собственно, означает для него это странное, а для всех довольно приятное состояние – жениться. Брак ему давался с трудом. Как будто брал барьер, самый высокий в жизни, посреди всех очередных, бесчисленных поставленных перед ним крепостей.

Предварение женитьбы – 1830 год – наиболее плодотворное для него и перегруженное сомнениями и волнениями время: «Наша свадьба, по-видимому, все убегает от меня...» (Н.Н. Гончаровой, 30 сентября 1830 г., Болдино); «...Теща моя отлагала свадьбу за приданым, а уж, конечно, не я. Я бесился... Баратынский говорит, что в женихах щастлив только дурак; а человек мыслящий беспокоен и волнуем будущим» (П.А.Плетневу, 29 сентября 1830 г., Болдино); «Мой отец все мне пишет, что моя свадьба рас-

строилась...» (Н.Н. Гончаровой, 18 ноября 1830 г., Болдино).

Читая подобные письма, мы словно ненароком заглядываем в окна «Капитанской Дочки». Мелькает, в перевернутом виде, батюшка Гринева, на первых порах, осердясь, задержавший свадьбу, и невеста-бесприданница, как будто карикатурно списанная с натуры: «... Девка на выданьи, а какое у нас приданое? частый гребень, да веник, да алтын денег (прости Бог!) с чем в баню сходить...» В романе также звучат отголоски тех душевных решений, которые принял автор, вступая в брак, и отклики на них, одобрительные или скептические, его друзей и знакомых. И когда мы с нетерпением ловим реплику Савельича: «Такой невесте не надо и приданого» или с грустью слышим досадливые замечания Зурова: «... Зачем тебя черт несет жениться?... Послушайся меня: развяжись ты с капитанской дочкой», «Нет, тебе не сдобровать! Женишься – ни за что пропадешь!» – нас охватывает чувство, что Пушкин воспроизвел здесь мимоходом толки разных приятелей по поводу собственной свадьбы.

Однако все эти, условно говоря, «автобиографические» вкрапления погружены в потоки писательского замысла и заботы о Гринева. Под действием сердечных лучей тот преобразуется. Он умнеет и взрослеет не по дням, а по часам. Еще недавно, как положено профану, он, в общем-то, плыл по течению, то и дело попадая впросак (впрочем, как потом оказалось, к лучшему – и с бураном, и с пьяной клоунадой на треклятом биллиарде). И вдруг ни с того ни с сего простак, мы видим, начинает здраво судить о людях, трезво оценивать ситуации, разбираться в коварствах и планах и даже, представьте, исторически и философски мыслить. Это любовь открывает ему глаза, питает и раздувает разум. Любовь первична в строении и понимании мира – негласно внушает Пушкин «Капитанской Дочкой». Негласно, потому что Пушкин ничего не объясняет, не доказывает, не проповедует, и, вообще, спервоначала умалчивает, что наш теленок влюбился. А просто на фактах показывает, как тот внезапно меняется интеллектуально и нравственно. Скажем, он обнаруживает, что Маша отнюдь не дурнушка и не дурочка, как аттестовал ее Швабрин, что она ангел, да и все семейство Мироновых, при уморитель-

ном комизме, это счастливая колыбель их растущей невообразимой взаимности. В итоге от простака остаются лишь пушкинское прямодушие и пушкинская открытость судьбы навстречу бедствиям...

При этом Марии Ивановне, заглавной героине романа, в сюжете отводится меньше места, нежели ее возлюбленному. Она сплошь и рядом отсутствует или бездействует. То ей становится видите ли дурно, то она лежит без сознания в горячке и никого не узнает, то жених вынужден ее покинуть, то она сидит под замком в неузнанном одиночестве, то удаляется в деревню к родителям Гринева. Герои только и делают, что друг с другом расстаются. Складывается впечатление, что Пушкин нарочно время от времени устраняет Машу из поля зрения на длительные отрезки пути, с тем чтобы ей лишний раз не путаться под ногами воюющих и не перегружать сочинение избытком женских эмоций. Между тем, и не участвуя в развитии событий, она перемещается следом за ними и повсюду сопровождает героя как стимул борьбы и жизни, как бесконечный предмет его размышлений и опасений. Можно сказать, она незримо и неслышно им издали руководит. Гринева потому и становится таким умным и мужественным, что много о ней думает и высчитывает всякий раз, как ей лучше помочь, совершает ради нее рискованные шаги, пускается на безумные хитрости и авантюры и, многократно пересекая снежное пространство романа, витками своей судьбы дорисовывает ее образ. Ее не назовешь пассивной, поскольку она усиленно включена в действие изнутри, пока не настает ее черед выступить единолично впереди – против всеобщих ков и козней, как и подобает капитанской дочке.

В то же время черты ее достаточно размыты. В противоположность другим персонажам, она лишена четких контуров и ярких, самобытных признаков. Бледная. Бессловесная. Никакого лица. Бесприданница. А тут еще убили родителей. Что с нее взять? Сирота. Так и подписывается: «... Не имею на земле ни родни, ни покровителей... Остаюсь вам покорная бедная сирота». Периодические разлуки с возлюбленным сообщают ее очертаниям еще большую воздушность. Ее образ уплывает от нас и тает, словно она переселяется на другой конец света. «Мысль, что, может быть, вижу ее в последний раз, придавала ей в моих глазах что-то трогав-

тельное». Еще бы! Женский образ, подернутый неизъяснимой дымкой... Знакомая картина. «Придешь ли, дева красоты! Слезу пролить над ранней урной...» Такая уж непременно придет... Но вряд ли Пушкин раздумывал о капитанской дочке, когда ехал на Черную речку стреляться. Ему было не до того...

Аналогии с пушкинской вечной невестой все-таки напрашиваются. По свидетельству наиболее тонких и доброжелательных очевидцев, даже в последние годы жизни, омраченные клеветой и безденежьем, Пушкин не допускал о жене ни единой дурной мысли. Не то, чтобы во всем она была безупречна. Нам надлежит помнить о Наталии Николаевне не где-нибудь в магазине тканей, а в сознании и восприятии Пушкина, который открывался в письме, что любит ее душу более ее лица, а для лица не находит на свете никаких сравнений. Не без его содействия, должно быть, ее прозвали «Психеей». Да она и была Психеей – душою души Пушкина. Она-то своим дыханием и окрашивает атмосферу «Капитанской Дочки», смыкаясь не с лицом героини, не с обликом, а с ее душой.

Там же оставлен росчерк, который возможно принять за вензель Пушкина, за его «ex libris»: «На другой день, когда сидел я за элегией и грыз перо в ожидании рифмы, Швабрин постучался под моим окошком. Я оставил перо, взял шпагу и к нему вышел. "Зачем откладывает?" – сказал мне Швабрин...»

И вирши Гринева, и его перо, и шпага посвящаются в том эпизоде капитанской дочке. Виньетка заготовлена: крест-накрест перо и шпага. Легко представить ее в ином составе и контексте. Отложил перо и взял пистолет... Близилось время подвести черту.

5

Когда пишешь по-настоящему, не сознавая, что происходит, не понимая как, зачем и о чем ты пишешь, случается, на твои письмена ложится легкая тень легенды. О том легенда, как некий странник заснул однажды на берегу, осененный волхвами, на какие-то полчаса, а когда проснулся, оказалось, прошло 300 лет...

Речь идет о классиках. О долговременности текстов.

Классики спят, но пока мы читаем с неподдельным интересом, их книги живут, видоизменяются и, бывает, набирают влияние. Мы даже не помним, еще не установлено, был ли такой писатель Шекспир или не было никакого Шекспира. А Гамлет все еще спорит. И нам невдомек, когда он моложе и красноречивее, сейчас или при Шекспире. Значит, Шекспир время от времени все же просыпается. И, посмотрев одним глазом на сочиненного им Гамлета, говорит: валяй дальше!.. Вся жизнь потеряна и проиграна, всю жизнь проворонил Шекспир, но ему повезло: заснул волшебным сном и проснется, даст Бог, еще через 300 лет после нас. Для того, чтобы улыбнуться: заснул!..

Законна классическая традиция, но законно и нарушение традиции. А то, чего доброго, заснет и не проснется. Или явится к нам в застывшем виде из холодильника. Требуется, если настала пора, ее отогреть. Разбудить.

Терпеть не могу некрологи и поздравительные статьи ко дню рождения уже покойного автора. «Многоуважаемый шкаф!» А шкаф между тем тоже хочет любить и мыслить, если он был писателем. И шкаф еще вам покажет!

Для того и предусмотрены в науке отрасли работ: «история литературы», «литературная критика». Обе кормятся и живут при литературе. И звучит престижно: «литературы», «литературная»... Как бы вышли замуж. Но если так, говорю, то извольте быть на равных. Да! на равных с той самой литературой, про которую вы пишете. Ну, как Пушкин – в смысле смелости. Не бойтесь рисковать! Так нет: жмутся, мнутя: опасно! Предпочитают служить приживалками. Могильщиками. Выйти, если повезет, в сторожа на кладбище...

Но ведь «история литературы» и «литературная критика», – умозаключаю, – не в том состоит, чтобы повесить бирки и кого-то из писателей повесить или понизить в должности. Над мертвой и давно неколыхающейся литературой построить и поставить Похоронное бюро? С цветами. С оркестрами. В толпах поклонников и с венками на катафалках. А после кремации милый прах распределить по ячейкам, по ящичкам в огромном мировом колумбарии?..

Представляю себя ночью на кладбище, на пространных елисейских полях истории всеобщей словесности – легкой

тенью. Что бы я там делал? Оплакивал? Да их уже сто лет оплакивают. Нет, я бегал бы от памятника к памятнику и шептал бы на ушко. Каждому отдельно: – Проснись! Пришла твоя пора!..

.....
Посвистывая тросточкой, Пушкин переступил границу.

6

К общечеловеческому сожалению, после жизни от человека чаще всего остаются одни пустые анекдоты. Так уж устроена наша бедная память, цепкая на одно занимательное, неожиданное или смешное. На какую-нибудь ерунду.

... Но дней минувших анекдоты
От Ромула до наших дней
Хранил он в памяти своей.

Задерживаются в ней случайные и вроде бы никому не нужные, кристаллические песчинки, странности и капризы судьбы, забавные шутки, бирюльки, чудачества и химеры природы, лежащиеся в будто заранее подставленную лузу. Внезапные всегда отклонения от нормы, исключения из правил, нарушения приличной и прилипчивой действительности, предполагающие, если нет выхода, непринужденный и остроумный ответ: да так, к слову пришлось! (Из пушкинских записей 1835-36 гг.: «Потемкин, встречаясь с Шешковским, обыкновенно говаривал ему: "Что, Степан Иванович, какво кнутобойничаешь?" На что Шешковский отвечал всегда с низким поклоном: "помаленьку, ваша светлость!"»).

Неравнодушный к этой материи, Пушкин был готов и «Капитанскую Дочку» зачислить в ту же рубрику: «Анекдот, служащий основанием повести, нами издаваемой, известен в Оренбургском краю» (набросок предисловия). И впрямь, разве не анекдот предложенная нам диковинная история про то, как боевой офицер при всех регалиях, совместно с огнеопасной невестой, выпутался из сетей пугачевщины, ни разу не погрешив против долга и совести? Скажут (и говорили – на суде Гриневу): «– В жизни так не бывает! Ничего похожего!..» Но не станем придирааться.

Реализм так реализм. Роман так роман. Построенный, однако, помимо подозрительной фабулы, на двусмысленных и скользящих словах, деталях, эпизодах анекдотического свойства, по которым повествование несется, как на коньках.

Взять хотя бы законы и уставы армейской службы, преподанные Зуриным, к которым поначалу Гринев пытается себя приучать с таким усердием и прилежанием, что служба, споткнувшись, уползает под бильярд на четырех лапах: «без пуншу, что и служба!» Пушкин, ясное дело, никакую службу и в грош не ставил, почитая гнусной обузой, и чтобы занять себя, в камер-юнкерском костюмчике, скрючившись, лакал мороженое, а душу отводил на подопытном кролике-Гриневе, показывая, как надобно держать вахту...

Досталось и начальству: «От песенек разговор обратился к стихотворцам, и комендант заметил, что все они люди беспутные и горькие пьяницы, и дружески советовал мне оставить стихотворство, как дело службе противное и ни к чему доброму не доводящее».

Прав был честный Иван Кузмич: стихотворство и служба несовместимые вещи. И это чувствовал Пушкин, бесясь на привязи. Но, к великому сожалению, это же, подобно Ивану Кузмичу, прекрасно сознавали и царь Николай, и граф Бенкендорф, тогда же писавший о Пушкине царю: «... Лучше, чтобы он был на службе, нежели предоставлен самому себе».

Боже мой! быть предоставленным самому себе – единственное, что мечталось и требовалось Пушкину. Что же до «горьких пьяниц», то на эту тему у него в столе был припасен очередной анекдот:

«Херасков очень уважал Кострова и предпочитал его талант своему собственному. Это приносит большую честь и его сердцу и его вкусу. Костров несколько времени жил у Хераскова, который не давал ему напиваться. Это наскучило Кострову. Он однажды пропал. Его бросились искать по всей Москве и не нашли. Вдруг Херасков получает от него письмо из Казани. Костров благодарил его за все его милости, "но, писал поэт, воля для меня всего дороже"» («Table-talk», 1835-36 гг.).

О чем это? О ком?.. Сказано: «писал поэт». И для Пуш-

кина уже не важно, большой поэт или маленький, Пушкин или Костров. «Комознс с нищими постелю разделяет; Костров на чердаке безвестно умирает...» («К другу стихотворцу», 1814 г.). Писал п о э т , для которого воля – всего дороже.

На свете счастья нет, но есть покой и воля...

Посвистывая тросточкой, Пушкин перешел дорогу...

7

В продолжение анекдотической службы займемся анекдотической к р е п о с т ь ю . Она не менее комедия. «Мы ехали довольно скоро. – Далече ли до крепости? – спросил я у своего ямщика. – Недалече, – отвечал он. – Вон уж видна". – Я глядел во все стороны, ожидая увидеть грозные бастионы, башни и вал; но ничего не видал, кроме деревушки, окруженной бревенчатым забором. С одной стороны стояли три или четыре скирда сена, полузанесенные снегом; с другой скривившаяся мельница, с лубочными крыльями, лениво опущенными».

Пока Гринев вертит головой во все стороны, пытаясь разглядеть отсутствующую крепость, в виде подлинника вставляется подмена одного ряда слов другим рядом (вместо бастионов забор) и начинается маскарад неузнавания ожидаемой панорамы, за счет чего та детально изображается. Нам могут возразить, что Белогорская крепость была именно такой, какой обрисовал ее Пушкин. Вполне возможно. Но само описание крепости сделано по анекдоту: «Разве это цирк?..» Как это свойственно анекдотам, исходной точкой и основанием картины служит слово, слово-герой, подчас с нулевым знаком, вызывающее удивление и разочарование рассказчика. «– Где же крепость? – спросил я с удивлением. – "Да вот она", – отвечал ямщик, указывая на деревушку, и с этим словом мы в нее въехали».

Реальность до глупости не совпадает с названием и назначением предмета, и различия многократно обыгрываются. Так, единственное орудие крепости, взнузданное мальчишками и начиненное всякой дрянью – «тряпички, камешки, щепки, бабки», – почтительно титулуется пуш-

кой. То же и крепостной гарнизон, составленный из инвалидов с косичками, и бравые его командиры: одноглазый, что всемерно подчеркивается, старичок-поручик Иван Игнатьич, помогающий комендантше сушить грибы и перематывать нитки («держи-ка руки прямее») и капитан Иван Кузмич, «в колпаке и в китайском халате», двадцать лет обучающий детушек воинскому артикулу, а те все еще не усвоили, «которая сторона правая, которая левая». Вдобавок, в крепости над командирами верховодит баба. При всем уважении, которое возбуждает у нас здравомыслящая Василиса Егоровна, ей предоставлено право раззвонить по деревне весть государственной важности о приближении Самозванца: доверила военную тайну одной лишь сплетнице-попадье, «и то потому только, что корова ее ходила еще в степи и могла быть захвачена злодеями». Короче, опять анекдот. И так на каждом шагу.

Отнесись мы серьезно к прилежащему тут абсурду, и не миновать Пушкину, по нынешним временам, обвинений в дискредитации армии, в умалении силы и славы русского оружия и в очернении действительности. Однако подобный вздор никому не приходит в голову. Пушкинский смех, в данном случае, начисто лишен осудительности.

Правда, к концу романа веселый авторский нрав несколько выдыхается. То ли фабула принимает более крутой для героя оборот. То ли «Капитанская Дочка», в бесконечных переездах и треволнениях Гринева, Пушкину поднадоела, и он досказывает ее легкой скороговоркой. Но и тут потеха – в самых притом неуместных эпизодах. Генерал, выясняется, в виду пугачевской осады Оренбурга, укутывает яблони теплой соломой и обдумывает печальную новость о гибели капитана Миронова и его бедной жены: «... Добрая была дама, и какая майстерица грибы солить!» И добавляет, должно быть, в утешение Гриневу: «А что Маша, капитанская дочка?... Ай, ай, ай!.. На дисциплину разбойников никак нельзя положиться». «... Лучше ей быть, покамест, женою Швабрина... а когда его расстреляем, тогда, Бог даст, сыщутся ей и женишки. Миленькие вдовушки в девках не сидят...»

Что ни фраза – то цирковой номер. Преподносится он по извечной сюжетной схеме любого анекдота, в котором героем было и остается – слово:

– Разве это цирк? Это бардак, а не цирк. Вот у моего дяди в Одессе был бардак, так это же – цирк!

Разве это лошади? Это не лошади, а бляди. Вот у моего дяди в Одессе были бляди, так это же – лошади!

Разве это клоун? Это хуй, а не клоун. Вот у моего дяди в Одессе был хуй, так это ж – клоун!

8

Дрочить литературную сволочь непечатным словом не моя печаль. Ну, случилось, кидал собакам серую поминальную кость – так и вцепятся, так и вгрызутся. Развлекает. Ими, получается, можно управлять. Рулить на расстоянии. С пол-оборота заводятся. Кроме подброшенной кости ничего не помнят. Дальше одной фразы не приучены читать. Как по команде воют скопом на солнце, и скандируют непристойное слово, и ахают, и ужасаются вокруг Пушкина. Даже как-то неудобно цитировать себя в их вульгарном пересказе. Будто радуются шансу, предатели, обругать Пушкина.

Но меня занимают сейчас иные мечты и звуки. Тем паче, что, кажется, Маше удалось-таки на самолете перевалить границу, и меня начинают печатать в Ленинграде. Никогда и не снилось вампиру попасть на родимое пепелище. Естественно задуматься о странностях любви, о Пушкине, о природе искусства. Черная речка и капитанская дочка достойный повод.

Поговорим о вампирах. Вероятно, всякий уважающий себя писатель по своей натуре вампир. Не пугайтесь! Он же вампир только в переносном, только в иносказательном смысле. Как и все иносказательно в этой перевернутой жизни. Он действует в призрачном мире, выдавая его за реальный, и, бывает, не обманывается. Ведь пока о ком-нибудь пишешь что-нибудь художественное, то вместо него вроде бы и немного живешь, питаюсь чужой, вымышленной, разумеется, кровью. А если в запасе у автора десятки личин-персонажей, не считая неодушевленных вещей, которые под борзым пером тоже, случается, обретают голос? Ну, как игра в куклы. В папы-мамы. В дочери-матери. В сестрицу Аленушку и братца Иванушку... Воображаемые дамы в воображаемых коттеджах пьют воображаемый чай

из воображаемого самовара. Да так аппетитно пьют, что в доме дым коромыслом и не разбери-поймешь, кто тут у них в гостях, и не сам ли то Пугачев справляет свадьбу? А книга, путешествуя по читательским каналам, набирает ярость, влияние. Ее от нас уже не оторвать: присосалась. Напилась ума и достатка у свежих, молодых поколений и раздаёт налево-направо чувствительные поцелуи-укусы, множа сонмы вампиров, готовых ринуться в ночь...

Но посмотрите, как жалок писатель в суровом дневном свете. Начав пробавляться немного загробной должностью и выдуманной ролью, в полусне, не приходя в сознание, он еле ноги волочит. Оперирует уже не руками, не ногами, а периодами речи и чуть-что безответственно уныривает в сюжет. Пренебрегая радостями правильного домашнего бытия, что само по себе уже нелестно, он делает несчастными себя и окружающих. Привычка самонадеянно реять в запретных измерениях сказывается губительно на писательской биографии. Она становится неровной, вымороженной, фантастичной, хоть садись и пиши с нее какой-нибудь новый роман о капитанской дочке.

Пушкин тяготел к фантастическому исходу. Его биография – ствол, зацветающий легендами. Всякий раз – наново.

... Мне все нейдет взять новый рубеж прозы. Для этого – для начала – следует разучиться писать. Будто у тебя за спиной никого и ничего не стояло. Одна бушующая ругань...

Тебя станут уговаривать: «– Оглянись! Ты сейчас провалишься! Посмотри, каким ты был молодцом когда-то, тридцать лет назад! Вчера! Позавчера! Вернись! Продолжи! Тебе стоит лишь обернуться! Оглянись!..»

Не оглядывайся! не оглядывайся! Иди, не оглядываясь. Помни, это бесы кричат в каждой сказке. Только и могут, только и молят об одном: «– Оглянись! Подожди! Оглянись!..»

Не обращай внимания. Оглянуться – остаться с ними. Застыть. Обратиться в камень. Будешь сам-друг вопить, как заправский попугай: «– Оглянись! Повторись!.. Останься с нами!..»

Не оглядывайся! Становись всякий раз за верстак, будто ничего не умеешь. Не помнишь. Не знаешь. Как если бы ты

был новичком. Будь слабым, безродным, беспомощным, безымянным. Только – не оглядывайся!

Как пушкинский Терентий из села Горюхина, я меняю почерк. Попеременно пишу то правой, то левой рукой. А то и ногой. Авось не узнают. Пробую взять новый барьер прозы. Нет покоя. Все через пень колоду. И в жизни – пробка. Не достают руки отослать письмо, погасить наложи, зайти в банк и починить зубы. Откладываю на завтра, извиняясь мысленно перед друзьями, что ничего достойного не успел совершить на земле. Назавтра та же история. Живу в постоянном трансе. Опять кому-то письма не написал, не позвонил по телефону, не оплатил счет за прошлый месяц, за позапрошлый год, и если будет так продолжаться, я останусь на бобах. Вот уж действительно вампир!.. И все-таки почему-то упорно, не взирая на угрызения совести, ничего не делаю.

А ведь знал заранее, все равно не дадут мне писать. Только сперва запрет пройдет под видом «советской власти» и «марксистско-ленинского мировоззрения», а потом под фундаментальным знаком, навсегда, национального Ренессанса. Как в гроб заколачивают. «– Русофоб! – кричат, – русофоб! Пушкина не удостоил почтением!..»

Я только спрашиваю себя: ну а Пушкину, ты думаешь, было лучше? Естественно, его приветствовали. Но легко ли было ему читать после смерти мнение Фаддея Булгарина? Сверху, с неба, виднее, что сказал Фаддей, в сокрушении сердца, через несколько дней после дуэли: «Жаль поэта – и великая, а человек был дрянной. Корчил Байрона, а пропал, как заяц. Жена его, право, не виновата. Ты знал фигуру Пушкина: можно ли было любить, особенно пьяного!»

Пушкин – пьяный? Вранье. Просто он немного рассеяничал последнее время. Размышлял о брате Иванушке, которого сжили со света. Дудка-тростинка выросла на могиле зарезанного. Вечная эмблема искусства, поющего над загубленной жизнью: «За красные ягодки, за червонные чоботки...»

– Что вы сочиняете нынче, Александр Сергеевич? – допытывались не в меру любознательные дамы. – Признайтесь! Скоро ли нас одарите чем-нибудь замечательным?..

А Пушкин думал с тоской:

– Скоро ли это кончится?

У него в столе вместо дудки лежала «Капитанская Дочка».

9

В правдивой дудочке-дочке Пушкина смутно звучит, а временами внятно дает знать о себе голос русской народной сказки. Прислушайтесь:

В темнице там царевна тужит,
А бурый волк ей верно служит...

«Скажи, братец, какую девушку держишь ты у себя под караулом? Покажи-ка мне ее».

По троекратному приказанию (как и подобает в сказке) «Пугачев толкнул дверь ногою; замок отскочил; дверь отворилась и мы вошли».

Я взглянул и обмер. На полу, в крестьянском оборванном платье, сидела Марья Ивановна, бледная, худая, с растрепанными волосами. Перед нею стоял кувшин воды, накрытый ломтем хлеба...

... "Выходи, красная девица; дарю тебе волку. Я государь"...

... Она закрыла лицо обеими руками и упала без чувств...»

При виде Пугачева красная девица впадает в каталепсический сон, на манер сказочной Людмилы: «... Зрит колдуну перед очами. Раздался девы жалкий стон, падет без чувств – и дивный сон объял несчастную крылами...» Затем, вместе с Гриневым пройдя очистительный курс (ритуальное хождение через огонь – в пропущенной главе), превращается – в царевну. Недаром в поисках Маши так далеко заехал наш царевич, еще ничего не понимающий Гринев: «Куда это мена завело? ...На границу киргиз-кайсацких степей!..»

Богopodobная царевна
Киргиз-Кайсацкия орды!..

Но всему свое место.

Пока красная девица валяется на кровати без памяти или сидит взаперти в темнице («в светлице»), возле ее обители складывается альянс, хорошо знакомый сказке. В роли зверей-помощников мелькают девка-Палашка (шустрая, вездесущая кошка – не зря Иван Кузмич замыкал Палашку в чулан) и ее полюбовник, казачий урядник Максимыч (вороватый пес), разносящий вести и письма на дальние дистанции. Но волк, разумеется, это сам Пугачев.

Пугачев – оборотень. Он появляется внезапно из «мутного кружения метели», в предвверие мужицкого бунта, и в первый момент, как оборотень, не поддается четкой фиксации. Точнее сказать, в нем совмещается несколько зрительных образов, создавая перед глазами притягательную загадку. Фигура материализуется из ночного сумрака и снежного вихря, и образ Пугачева, знаменуя дальнейшие метаморфозы в романе, с самого начала вращается: «Вдруг увидел я что-то черное...»; «... Что там чернеется?»; «... Воз не воз, дерево не дерево, а кажется, что шевелится. Должно быть, или волк, или человек».

Колорит напоминает несколько атмосферу пушкинских «Бесов» (1830 г., Болдино), к которым восходит и тягостный сердцу пейзаж перед началом мятежа: «Однажды вечером (это было в начале октября 1773 года) сидел я дома один, слушая вой осеннего ветра и смотря на тучи, бегущие мимо луны».

Мчатся тучи, вьются тучи...

.....

Сил нам нет кружиться доле;

Колокольчик вдруг умолк;

Кони стали... – "Что там в поле?" –

"Кто их знает? пень иль волк?"

Волк, согласно традиции, самое разлюбленное и родное по естеству воплощение оборотня, да и многие волки на самом деле – оборотни. Между тем Пугачев при ближайшем знакомстве оказывается простым мужиком, чье лицо не лишено даже некоторой приятности (а что вы хотите от оборотня?). В его трактовке Пушкин отталкивается от байронова Лары (письмо И.И. Дмитриеву, 26 апреля

1835 г.) и других разновидностей романтического демонизма в изображении разбойников, включая, должно быть, и собственного заколодившего вдруг «Дубровского». И все же в человеческом облике и в повадках Пугачева проскакивает временами что-то волчье (верхнее чутье, сметливость и расторопность на неведомых дорожках в степи, полномочия Вожатого, Вожака, Вождя в дикой стае, кровожадность, воющее одиночество). Через весь роман, по лучшим стандартам, проносится огненный, волчий взгляд Пугачева.

Вот уж он далече скачет;
Лишь глаза во мгле горят...

Но главный факт, устанавливающий – на острие иглы! – оборотничество Пугачева, принадлежит истории. Это уже, так сказать, объективный исторический факт, и могли тут Пушкин остаться равнодушным? Как было упустить вполне правдоподобный, разработанный урок обращения неизвестного бродяги в царя, восколебавший половину России?! Раньше времени, видать, мыши кота хоронили, как означено на лубочной картинке в доме капитана Мирнова. Ироническая эта картинка, имевшая на примете зловредного Петра I, перекидывается в «Капитанской Дочке» на Петра III. Дескать, не почил в Бозе самодержавный государь, а восстал в диком образе Пугачева на страх всем екатерининским мышам.

В секретных заметках к «Истории Пугачевского бунта», предназначенных императору Николаю Павловичу, Пушкин не без тайной усмешки фразировал царя такими, например, изысканиями в архивах: «Пугачев был уже пятый самозванец, принявший на себя имя императора Петра III. Не только в простом народе, но и высшем сословии существовало мнение, что будто государь жив и находится в заключении. Сам великий князь Павел Петрович долго верил или желал верить сему слуху. По восшествии на престол первый вопрос государя графу Гудовичу был: жив ли мой отец?»

Не выдержал и погрозил-таки Императору пальцем убиенного бабушкой дедушки и убиенного сыном отца. Цель переворотов и насильственных смертей плелась возле тро-

на. А вы еще спрашиваете: отчего произошла революция в России? Не сочувствуя революции, Пушкин влекся к Пугачеву. Уж больно интересной и поучительной показалась ему история, что сама ложилась под ноги и становилась художеством. От «Истории Пугачевского бунта», удостоверенной всеми, какие ни на есть документами, отделилась ни на что не похожая, своенравная «Капитанская Дочка»...

Автор протер глаза. Выполнив долг историка, он словно забыл о нем и наново, будто впервые видит, взгляделся в Пугачева. И не узнал. Злодей продолжал свирепствовать, но возбуждал симпатию. Чудо, преподанное языком черни, пленяло. Автор замер перед странной игрой действительности в искусство. Волшебная дудочка, как выяснилось, пылилась у него под носом. Смысл и стимул творчества ему открылись. Он встретил Оборотня.

Уже в ответе на критику «Истории Пугачевского бунта» (1836 г.) Пушкин отмечает пошлые, по его выражению, назидательные сентенции, которыми его оппонент бесстрашно награждал Пугачева, и приводит разящий пример подобной нравоучительной пошлости: «Если верить философам, что человек состоит из двух стихий, добра и зла: то Емелька Пугачев бесспорно принадлежал к редким явлениям, к извергам, вне закона природы рожденным; ибо в естестве его не было ни малейшей искры добра, того благого начала, той духовной части, которые разумное творение от бессмысленного животного отличают. История сего злодея может изумить порочного и вселить отвращение даже в самых разбойниках и убийцах. Она вместе с тем доказывает, как низко может падать человек и какую адскою злобою может быть преисполнено его сердце».

Нет, Пушкин не имел охоты мазать Пугачева дегтем: тот и так был черен. А по мере обдумывания и продвижения романа разбойник ему явно нравился. Впрочем, и раньше поэту на давала жить слишком тугая мораль, и он уверял, смеясь, что «можно описывать разбойников и убийц, даже не имея целию объяснить, сколь непохвально это ремесло»: «поэзия – вымысел, – говорил Пушкин, – и ничего с прозаической истиной жизни общего не имеет» (Об Альфреде Мюссе, 1830 г.). В этом смысле «Капитанская Дочка», будучи прозой, принадлежит безусловно поэзии, и отсюда ее пути далеко расходятся с «прозаической истиной жизни»,

воссозданной в пугачевской «Истории», пускай то и другое одна чистая правда.

Пушкинская азбука, однако, не спасает нас от вопросов. Остаются неразрешимой загадкой преданность Пугачева и дивное его покровительство Гриневу и капитанской дочке, чьих родителей разбойник предварительно убил. Можно, конечно, наметить десятки объяснений поведению последнего, но все они покажутся нам недостаточными, коль скоро его милости барину и противнику не имеют, вообще, логических обоснований. Скажем, сам Пугачев мотивирует свою доброту ответным чувством признательности за поднесенный своевременно стакан вина и заячий тулуп, благо неугомонный Савельич не дает нам уснуть, обращая тулупчик в рефрен драматического сюжета. Попутно Пугачев словно вступает в спор с нравоучительным критиком «Истории Пугачевского бунта», не нашедшим в его естестве «и малейшей искры добра»: «Ты видишь, что я не такой еще кровопийца, как говорит обо мне ваша братья».

Возможно, Гринев покорила сердце злодея бестрепетной своей прямоотой, искренностью и умением апеллировать к обыкновенному здравому смыслу, доступному мужику, предлагая тому поминутно войти в положение его, Гринева, перелезть в шкуру (мундир) дворянина и офицера. «Рассуди, могу ли я признать в тебе государя?»; «Сам знаешь, не моя воля...»; «На что это будет похоже, если я от службы откажусь...»; «Сам как ты думаешь...»; «Сам ты рассуди, можно ли было при твоих людях...» Такова манера Гринева объясняться с Пугачевым. Вероятно, не подозревая о том, он возвышает мужика и разбойника до своего уровня, интеллектуального и нравственного, а тому это лестно. Он его не уговаривает, не спрашивает. Он просто рассуждает, держась на равных, и в результате загоняет собеседника в тупик. Тому ничего не остается, как сказать, что он сам все прекрасно понимает.

Пушкин обладал уникальным талантом разговаривать на равных с любым персонажем, к какому бы сословию тот ни принадлежал – хоть с генералом, хоть с цыганом – и в рассудительных беседах (в шедеврах) проникать в итоге в сердце и мозг подопечного, а затем уже управлять (продолжая держаться на равных) его следствием и дознанием.

Гринев лишь в слабой степени разделяет эту редкую отзывчивость автора.

Но все это, так сказать, вспомогательные веревки, за которые дергает Пушкин, заставляя Пугачева плясать под свою дудку. В принципе – никаких мотивов (ну так бы и сидел в своем Нижнем Тагиле). При всей вопиющей ясности душевных сочленений, Пугачев – непостижим. Лучше всех сказала о нем Цветаева: «... Как если бы волк вдруг стал сам давать тебе лапу...» Одно слово – оборотень. Отсюда невразумительность, сказочная невероятность связанных с ним у Гринева определений. За ним, за бесом, стоит Божий промысел. «Я не мог не подивиться странному сцеплению обстоятельств...»; «Странная мысль пришла мне в голову...»; «Чудные обстоятельства соединили нас...»; «Как тебя назвать, не знаю, да и знать не хочу... Ты мой благодетель... А мы, где бы ты ни был и что бы с тобою ни случилось, каждый день будем Бога молить о спасении грешной твоей души...»

Это надо же! Слушай, Маша: будем каждый день молиться за того, кто убил твоего отца и мать. И Савельич присоединяется: «– Дай Бог тебе сто лет здравствовать... Век за тебя буду Бога молить...»

В каждой счастливой мысли важен эффект случайности. Но самая, наверное, иррациональная точка в сюжете, это когда после гибели машинных родителей Гринев с Пугачевым впервые встречаются тет-а-тет и, взглянув друг на друга, ни с того ни с сего вдруг прыскают со смеху... Признаться, в этот миг у меня мороз пробежал по коже, и я подумал, что, может быть, не так уж неправы были станичные старики и старухи, пока Пушкин у них гостил и выпытывал про Пугачева, усмотревшие вместо ногтей у него на пальцах когти. «Пушкин много тому смеялся», – вспоминает Даль. Что поделаешь? Художник.

10

Слава Богу, Пушкин – не праведник. И не проповедник. Посреди моралистов – Державина, Кантемира, Ломоносова, с одной стороны, с другой – Некрасова, позднего Гоголя, Толстого, Горького, Солженицына... Скажешь «Пушкин», и мы улыбаемся. Ренессанс. Италия. Утро. Его имя возве-

стило заранее всю его литературную деятельность. Он выстрелил из пушки поутру (ср. пушка будила нас на заре в Арзруме) и сделался родным пушным зверем для нас, русских, воздушным пухом, пускай все дни и стреляет.

Умеет, естественно, писать и на строгие религиозные темы: «Отцы-пустынники и жены непорочны...» Но нет этого нахмуренного чела, этих собранных в куриную попку или опущенных книзу скорбной ижицей пророческих уст. Чернышевский. Добролюбов (пародия на «Добротолубие»). Даже эстет Брюсов рядом с Пушкиным тяжеловесен и готов, как мораль, пропагандировать имморализм. О, крапивное семя, возобладавшее в российской словесности, забывшее о развлекательных жанрах, о светскости, которую с легким сердцем нам подарил Пушкин!

Светскость Пушкина, в общем-то, не отрицание, а расширение религиозного чувства повсюду, куда ни кинь опечаленный взгляд. У Пушкина все вещи играют и смеются. Потому что они оживают под его прикосновением. Прослыш вольнодумцем, Пушкин повернул литературу, как ей и ему вздумается в данную минуту крутиться и блистать, и невообразимо раздвинул спектр попадания в разноцветную орбиту явлений, пусть нынешние руситы одно занудили, как если бы Пушкин сочинил им могильный катехизис. Дети следующего за ним поколения чище слышали Пушкина и выставили за себя противоборцем Писарева, которого почему-то особенно коробили строки, типа: «Морозной пылью серебрится его бобровый воротник». На этом иступленном – во имя пользы – фоне Пушкин рисовался безбожником-агностиком, даром что весь агностицизм у него принимал далекий от безразличия образ влюбленности в то и в се. Много не философствуя, Пушкин вносил мудрое спокойствие в живописание вещей. «Сосед мой, молодой казак, стройный и красивый, налил мне стакан простого вина, до которого я не коснулся». Это он о пугачевцах рассказывает!..

Сойдя с автобуса в Ленинграде, я первым делом нашарил очешник в кармане и, как водится, поцеловал в маковку. Не приведи Господь потерять очки в России. Реликт, естественно. Привычка. Язычество. Викинги, говорят, перед боем долго молились своему оружию. Выщербленному щиту, мечу. Очки для меня так же, как для иных – пистолет.

Иностраннный паспорт. А «Капитанская Дочка» всегда при мне.

А не прокатиться ли нам раз в жизни на Черную речку? – подумалось. Ведь никогда не видел. Да и вообще в Санкт-Петербурге я не бывал, дай Бог памяти, то ли пятьдесят, то ли тридцать с лишним лет. Отвлеченно я знал, конечно, что от Черной речки там ни черта ни осталось. Асфальт, небось. Новостройки. Какая-нибудь дачная, чавкающая грязь. Но тем больше меня манило на место небезызвестной дуэли. Не знаю – почему. И мы поехали.

Ленинград – осыпался. Как чайная усохшая роза, поставленная в стакан с гнилостной тяжелой водой, подпорченный Ленинград, казалось, на глазах терял свои классические лепестки. Прекрасные фасады екатерининских, казалось, времен, казалось, облетали. Казалось, сама Империя разваливалась у нас на глазах.

– Но дело не в том, Маша, – продолжал я рассуждать, зевая по сторонам, – что Пугачев – хороший. Что в нем, как в каждом из нас, подспудно тлеет какая-нибудь Божья свеча. Так ведь и Карамзин открыл в «Бедной Лизе», что крестьянки, мол, тоже любить умеют. Посмотри в «Капитанской Дочке». Вот здесь, важная запись. На первый взгляд, ничего особенного:

«Неожиданные происшествия, имевшие важные влияния на всю мою жизнь, дали вдруг моей душе сильное и благое потрясение».

Ведь это сказано Гриневым в состоянии тяжелой и преждевременной депрессии, на краю безумия, распутства, накануне ударившей по нему, как молния, и по всей стране пугачевщины, которая его странным образом извлекла и исцелила. Своей неумной энергией Пугачев вывел Гринева из бездействия, когда тот, подчиняясь воле отца, уже не имел охоты ни читать, ни писать, а этот разбойник наставил на правильный, полный превратностей, путь. Вот отчего Пугачев, по большому счету, для Гринева «благодетель», и все они, в общем-то, должны за него Бога молить. Посреди благословивших чету (и тут же погубленных) машинных родителей и отказавших в свадьбе вначале и только потом, под конец, спохватившихся гриневских стариков – Пугачев единственный, кто добровольно и самозванно принял должность Посаженого отца и ласково кликал во сне

Гринева: «Не бойсь, подойди под мое благословение...» «"Не бось, не бось", – повторяли мне губители, может быть и вправду желая меня ободрить». Под виселицей, стало быть, заместив отца, благословил его Самозванец. Как некогда – в прошлом – родители благословляли иконой и крестом. Какая разница? Пугачев и сам грезит в песне о виселице. Они с Гриневым, между нами говоря, – крестовые братья. Старший – Пугачев – так и рвется под топор и приглашает туда же своего любимца и выкормыша. После подобного чествования, еще во сне, младшему ничего другого не остается, как тоже сделаться самозванным, самостоятельным лицом. Службист и сослуживец вчера, он становится одинокой и неприкаянной персоной и, дабы выручить свою бесценную Машу из беды, лезет обратно в львиную пасть, циркач. Была и у нас такая веселая поговорка: «Всю жизнь работаем в пасти у льва!»

Словом, немного попробовав совратить Гринева в преданного себе фельдмаршала, Пугачев выбил его из узаконенной колеи и обратил в независимую, ответственную, стойкую личность. Ты посмотри, Маша, Гринев, пройдя пугачевскую школу, вообще начинает пренебрегать службой. Он и на службу в Оренбурге, под генералом, смотрит косо, да и обчистивший его и осчастлививший Зурин ему не закон. Из переплета, куда он попал, офицер Гринев вышел человеком. Перипетии его судьбы и сплетения путей становятся зеркалом рисунку души и характера Пугачева. Он ведет себя вольно, самонадеянно и ездит взад и вперед, что твой Пушкин. Урок Пугачева, выходит, пошел ему впрок и во благо...

Мало того. Едва Пугачев (оборотень) вторгся в сердцевину романа, все вокруг закрутилось и завертелось. Смешные и трогательные старики (Иван Кузмич и проч.) разом выросли в трагические фигуры. А несчастный старик-башкирец с отрезанными ушами, носом и языком, мигом очутился верхом на виселице в должности немого новоявленного палача. Перебежавший к Пугачеву урядник, присвоив у Гринева полтину денег, бросается к нему добрым знакомым: «... Я готов был уже ударить его своею турецкою саблею, как вдруг он снял шапку и закричал: "Здравствуйте, Петр Андреич! Как вас Бог милует?" ... Я несказанно ему обрадовался». Самая невинная мысль пишется зигзагом

и, как необъезженный конь, чуть что, встает на дыбы. Заклятый Хлопуша, чья зверская внешность внушает ужас, выказывает внезапно неподдельное благородство и широту души, щедрое, открытое сердце. Недаром Пушкин в письме ласково именовал Наталию Николаевну своей Хло-Пушкиной, сопоставляя в виде контраста милое личико жены и рваные ноздри каторжника, ее филигранные пальчики и его косматую лапу.

Пушкин явил нам великую обратимость жизни, увенчав «Капитанской Дочкой» все, что писал всегда о превратности бытия. Вещи вертелись под его пером, поворачиваясь к зрителю то смешной, то печальной, то темной, то светлой своей стороной. Оттого-то в его романе и отдельные фразы и даже слова звучат подчас двусмысленно и жутковато или лукаво перемигиваются с соседними, либо стоящими поодаль друг от друга, на почтительном расстоянии, и всю эту бездну значений необходимо не упускать из виду в словесном фехтовании Пушкина.

«Ну, а что ваши?» – «Да что наши!» – переговариваются Пугачев с хозяином постоялого двора. «Войди, батюшка, – отвечал инвалид: – наши дома». Безусловно, словцо «наши» здесь обоюдоостро: одни «наши» у казачества, и совсем другие в комендантском доме, и те «наши» скоро начнут воевать с этими «нашими»: гражданская война.

Таинственная фраза Пугачева на воровском жаргоне «заткни топор за спину: лесничий ходит» – реализуется, проясняясь, в предварительном сне Гринева, словно Пугачев ее там подслушал: «мужик вскочил с постели, выхватил топор из-за спины и стал махать во все стороны... Комната наполнилась мертвыми телами...» Да и готовность объявить себя «посаженым отцом» на свадьбе у Гринева Пугачев как будто заимствовал из того же гриневского сна. Все они взад-вперед листали «Капитанскую Дочку».

Уж на что, казалось бы, дуэль занятие сугубо дворянское, деликатное и наизусть знакомое Пушкину. Так и та получает массу синонимических оборотов, иной раз самого грубого, простонародного свойства: «за одно слово... готовы резаться» (Маша); «он вас в рыло, а вы его в ухо, в другое, в третье» (Иван Игнатьич); «взяли с собою шпаги, да и ну друг друга пырять» (Василиса Егоровна); «тыкаться железными вертелами, да притоптывать, как будто тыка-

нием да топанием убережешься от злого человека!» (Савельич). В наказание шпаги наших дуэлянтов Палашка препровождает в чулан. В тот самый чулан, куда Палашку вскоре саму заперут... Но вершиной пародии служит прелюдия ссоры Гринева со Швабриным: «... капрал Прохоров подрался в бане с Устиньей Негулиной за шайку горячей воды». Остаюсь Пушкин в живых, воображаю, как в веселую минуту мог бы он повернуть собственные вздорные склоки с князем Репниным, с графом Соллогубом... Но со Швабриным – никогда! Честь задета!

Вдруг... «– Что такое? – спросил я с нетерпением.

– Застава, барин, – отвечал ямщик, с трудом остановя разъяренных своих коней.

В самом деле, я увидел рогатку и караульного с дубиной. Мужик подошел ко мне и снял шляпу, спрашивая пашпорту.

– Что это значит, – спросил я его, – зачем здесь рогатка? Кого ты караулишь?

– Да мы, батюшка, бунтуем, – ответил он, почесываясь» (Пропущенная глава).

Выяснилось, он караулил толпу. До Черной речки, сказал провожатый, было рукой подать. А толпа все нарастала, устремляясь туда же, к Черной речке, по нескольким аллеям. Откуда они взялись? Просочились? Из-под земли? С автобусов? По-видимому, крутили массовку для какого-то кино.

Мне вспомнился королевский музей Прадо в Мадриде. В нижних залах, у Гойи, мы пересеклись с экскурсией с того света, из прошлой жизни, из России. Кого здесь только не было! Киргизы, узбеки, монголы, в тибетейках, в пыжиковых шапках из Москвы, в барашковых из Тьмутаракани, в мятых пиджачках со значками, в квадратных покоробленных шляпах, больше похожих на обкомовские надгробия, в линялых, мусорных брюках, заправленных кое-как в выдавшие виды, большие, сгорбленные сапоги, шли строем, попережку с то же уже потемневшими и заготовленными русскими. Паркетный пол под ними дисциплинированно трещал. Какие-нибудь, я вычислил, совхозные бригадиры, трактористы, ударники труда. Несколько воровских, совершенно воровских рож. «– Братья по разуму!» – еле выдохнула Мария. «– Земляки!» – поддержал я. Корявые, из арыка, без тени смущения, перли ордой по Прадо, не сни-

мая шапок и шляп, выполняя обязательства по культурному обмену с Испанией. Но они же не виноваты. Как выдержали, как выкормили их, так и пошли. В арбах, не давая денег. Нечего есть. Как Бог послал.

Медленно и тяжело, повинуюсь команде, переходили от картины к картине. Пузатые, в тюбетейках, несколько ужасных баб в сапогах, в шароварах из-под юбки, росмахой, пропеченные солнцем, терпеливые старики, разминая набухшие, не прикасавшиеся к книгам пальцы, важно прохаживались по залу, не смотря по сторонам.

– Быдло, – подумал я, не вникая, не вкладывая ничего дурного в слово «быдло». Люди как люди. Ходят. Просто у них другие интересы. Россия – боль моя, мой позор, мой стыд! – могу ли от тебя оторваться, наконец?

Пожилая и слегка потрепанная молью испанка вела дивизию и что-то быстро-быстро, явно комкая, им говорила на тарабарском наречии. Русская при ней, испуганная проводница укорачивала курс прохождения по королевскому музею. Смотрители по залам фыркали в кулак и насмешливо провожали глазами передовой отряд потомков Тамерлана.

Помнится, еще матушка Екатерина Великая в письме Вольтеру сравнивала нашествие Пугачева с нашествием Тамерлана, и Пушкин это записал.

Гуртом! Им бы овец пасти... И вдруг о ни встретились, и я замер. Заслуженные колхозники и передовые колхозницы в сопровождении небольшого разбойного войска сомкнулись, наконец, с длинными панно Гойи, уже сошедшего с ума. Нижний этаж! Вот это было – свидание. Я – замер. Черные, налезające друг на друга хари, с гитарой наперевес, с черным Козлом-пророком во главе шабаша, а далее – перекошенные рты, кантованные головы, вылезшие навстречу экскурсии, с провалившимися носами, без губ, с растопыренными, будто у летучих мышей, ушами. И они уставились друг на друга, точно в зеркало, бараны, не узнавая, не испытывая чувства темного сродства и тайного облечения. Встретились, не вникая объяснениям вторгшейся туда же испанской ведьмы, и разошлись, как черные волны от корабля, как два, рогами и глазами, удостоверившихся одно в другом стада. Группа между тем поспешно перестраивалась. Они вышли из Прадо, казалось, не успев

войти. Вслед им дышали и выли вылезшие из вулканической магмы монстры Гойи.

– Облава! – успел шепнуть я Маше. – Здесь то же, что в Прадо! Бежим!

Где-то невдалеке верблюды рыдали по радио. Толпа наседала. – Пушкин! Пушкин! – слышались уже выкрики, и я понимал, что вслед за Дантесом народ возьмется громить и вешать иноземцев. Цитата из Станислава Моравского стояла поперек головы: «Все население Петербурга, а в особенности чернь и мужичье, волнуясь, как в конвульсиях, страстно жаждало отомстить Дантесу... Хотели расправиться даже с хирургами, которые лечили Пушкина, доказывая, что тут заговор и измена, что один иностранец ранил Пушкина, а другим иностранцам поручили его лечить».

Прав был Сталин, мелькнуло, натравливая Древнюю Русь на злокозненных врачей-инородцев. На Запад. Но что станет с нами в результате? Куда скроется дипломатический корпус в бывшем Санкт-Петербурге, почтительнейше, на цырлах, в глубоком трауре обставший пушкинский гроб? Как спасется храбрый Барант, задумавший накануне дуэли перевести по-французски, совместно с Пушкиным, непереводимую «Капитанскую Дочку»? Он еще, кажется, слабо лепетал, Барант, что-то о девичьей русской прелести... – На мыло! Рыб кормить! – ревела толпа, уже сплошь составленная, мнилось, из оборванной черни, из азиатских харь и халатов. Попадались, правда, барашковые и пыжиковые, не по сезону, шапки, подозрительные и дикие на июньском ветерке. Как странно, подумалось, что пушкинский Петербург населяют теперь кочевники, пугачевцы, выходцы из провинции. «– Ты знаешь, Маша! Пора отчаливать!» И мы ушли. До Черной речки, сказал нам мужик с дубиной, было рукой подать.

11

Заглавным эпиграфом к роману Пушкин выбрал пословицу: «Береги честь смолоду». Потом подумал, помедлил и написал сверху название – «Капитанская Дочка». Видимо, мысли о чести и сюжет романа вязались у него в голове. А

капитанская дочка служила живым олицетворением чести. Ту и другую требовалось беречь, как зеницу ока.

Рядом с таким вразумительным эпиграфом припоминаются и другие, ненадежные идиомы, лежащие в ареале того же сюжета и близкие сердцу автора: «Доброю женою и муж честен», «Честь ум рождает»... Ладные, толковые, прямо скажем, бывали пословицы и поговорки. Когда бы не затесалась меж ними еще одна прибаутка, на сей раз тревожная, горькая – как волчий вой. 30 сентября 1832 г. Пушкин ласково пеняет жене, что, дескать, она у него слишком хороша собою:

«Знаешь русскую песню –

Не дай Бог хорошей жены,
Хорошу жену часто в пир зовут.

А бедному-то мужу во чужом пиру похмелье, да и в своем тошнит».

Русская песня заимствована Пушкиным из старых его записей. Еще у няни, в Михайловском:

Как за церковью, за немецкою,
Добрый молодец Богу молится:
Как не дай, Боже, хорошу жену,
Хорошу жену – в честный пир зовут,
Меня молодца не примолвили;
Мою жену – в новы саночки,
Меня молодца – на запяточки.
Мою жену – на широкий двор,
Меня молодца – за вороточки.

Запомнилась... Позднее, на запятках при дворе, чего только не передумал Пушкин! Шептал на ушко: «... Хоть я в тебе и уверен, но не должно подавать повод к сплетням» (27 ноября 1832 г.). Страшно представить, ему оставалось мучиться еще четыре с лишним года. И надо удивляться, читая его биографию, как они Пушкина, уже созревшего, раньше не убили и как он, значит, был живуч, безумец! А песня крепла в душе, не выползая на поверхность, на публику, в литературу, пока, после множества проб, он не

выстрелил в нее напоследок. «Меня молодца – за вороточки...»

«Честь! честь! честь!» – гремело у него в голове все последние годы – в письмах, в статьях, в разговорах. «Чему учиться дворянство? Независимости, храбрости, благородству (честь вообще)». Тот же рефрен, те же словопрения о чести звучат в «Капитанской Дочке», писавшейся параллельно его стремительному движению к смерти. За честью то и дело мерещится Черная речка.

Вынужденный жить «между пасквилями и доносами» (по собственному его наблюдению в письме жене, 29 мая 1834 г.), Пушкин все бессовестное и бесчестное собрал в лице Швабрина. Слово он прицеливался заочно живописать Дантеса. Столь омерзительных персонажей раньше в его команде не значилось. Пушкин, в общем-то, следовал щедрой и широкой кисти Шекспира и, рисуя негодяев, вносил в них какую-нибудь утешительную ноту. Не то – Швабрин! Трижды предатель, четырежды клеветник и неслучайное число раз расчетливый доносчик. В последний раз он донес на Гринева, уже заточенный в темницу, – из чистой мести. К тому же – трус. Да еще – насильник. Безбожник. Наконец, где бы ни был, вводил в обычай «душегубство», говоря устами доброй Василисы Егоровны. «Смертоубийство». Одним словом – швабра. Всю нечисть впитавшая и в удесятеренном размере выпускающая грязь из себя на палубу корабля, где капитаном стоит неслгибамый комендант Миронов. Сам Пугачев, не выдержав присутствия Швабрина, намерен его повесить. И за что бы, вы думали? Да за то, что с бедной девушкой и дворянской сиротой тот обходится, знаете ли, недостаточно гуманно. И это – Пугачев, осиротивший половину России! Зачет опять-таки в пользу Пугачева: ради поддержания чести повесил отца-капитана и соблюл целомудрие капитанской дочки...

Капитанская дочь,
Не ходи гулять в полночь, –

меланхолически насвистывал Пушкин уже собственной жене.

Но чем же держится, спросим себя, и почему не разва-

ливается эта, не Бог весть какая, капитальная постройка? Более того – при всех несообразностях характеров и положений («Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня»), при множестве словесных и сюжетных поворотов, когда стиль то восхитительно, полупародийно взмывает ввысь, к реликвиям и обелискам осьмнадцатого столетия («Упросите генерала и всех командиров прислать к нам поскорее сикурсу»), то стремглав катится долу («... Подавайте сюда ваши шпаги, подавайте, подавайте... Сейчас рассади их по разным углам, на хлеб да на воду, чтоб у них дурь-то прошла...»), – так вот, отчего, спрашивается, вся эта композиция сохраняет видимость жизненной правдивости и поэтического равновесия?

Нет, одним сомнительным эпитетом «реализм» тут не обойтись. Допустимо выделить в «Капитанской Дочке» по крайней мере три сорта скреплений и перетяжек, сообщающих завидную прочность легкому суденышку, брошенному в волны истории и на произвол судьбы. В первую очередь, естественно, привлекает к себе внимание беспримерная оснащенность романа всевозможными документами – от Придворного Календаря до пашпорта Петруши Гринева, от реестра Савельича до записки Зурина о вчерашнем проигрыше. Автор любую безделицу готов подтвердить бумажкой: все рассказанное здесь, дескать, посмотрите, одна суцья правда. Как если бы бедняга Гринев, в поисках недостающего алиби перед следственной комиссией, волочил за собою по кочкам всю домашнюю канцелярию. Иллюзия, конечно (как всякое другое искусство).

Возясь столько с архивами, Пушкин вошел во вкус и художественный текст уже норовил стилизовать под архивные данные. В итоге авантюрный роман под его пером получил очевидные признаки документальной прозы. А на разгоряченное лицо человека легла пыльца истории.

Среди множества документов в «Капитанской Дочке» два имеют приоритет. Это офицерский диплом славного капитана Миронова на стене – «за стеклом и в рамке» – бросившийся Гриневу в глаза, едва он вошел в комендантский дом, и помянутый на прощание при последнем его заезде в Белогорскую крепость, «как печальная эпитафия прошедшему времени». Тот диплом-эпитафия, разумеется,

служит удостоверением чести, доставшейся по эстафете Гриневу при ближайшем участии и посредничестве Маши Мироновой, ищущей при дворе покровительства, «как дочь человека, пострадавшего за свою верность».

Второй документ, в увенчание романа, демонстрирует потомство Гриневых: «В одном из барских флигелей показывают собственноручное письмо Екатерины II за стеклом и в рамке. Оно писано к отцу Петра Андреевича и содержит оправдание его сына и похвалы уму и сердцу дочери капитана Миронова». Перед нами аналогия первого диплома. Тоже «за стеклом» и тоже «в рамке». Документальное обрамление книги так и сияет из этой памятной рамочки, доставшейся оскудевшим наследникам капитанской дочки. Дворянская честь в наши дни, с грустью думал Пушкин, с раздроблением имений тоже заметно мельчает...

Сопоставим два документа, и мы получим простейшую композиционную схему романа и его, так сказать, воспитательную концепцию. В этом смысле «Капитанская Дочка» уже принадлежит к воспитательному жанру (только без навязчивой просветительской дидактики). Честь не стоит на месте, чести необходимо учиться, ее надо завоевывать, перенимая от капитана Миронова, как завещанный тебе эталон, ненаглядную капитанскую дочку, как следующий этап жизненного пути, ради дальнейших свершений, в более сложных, в немыслимых, прямо скажем, обстоятельствах.

Из той же геометрии наглядно проступает следующая система оснастки пушкинского корабля, придающая ему равновесие посреди всех исторических и частных колораций сюжета. Это парная, симметричная расположенность фигур и нагрузок. Итак, два диплома под стеклом. Две родительские пары с их двойным благословением невесте и жениху (а посередине Пугачев). Две виселицы – для противников и для сторонников Пугачева (вторая виселица симметрично выплывает из мрака в Пропущенной главе). Две полтины денег, не дошедшие по адресу. Две великие милости, оказанные Гриневу. Два при Пугачеве самодельных генерала. Два Ивана (Иван Кузмич и Иван Игнатич). Два верных слуги (Савельич и Палашка). Две Палашки (первая в доме Гриневых). Две силы, два претендента на руку и сердце дамы, столкнувшиеся в гражданской войне.

Два следователя-допросчика в Казанской комиссии. Два государя: царь-батюшка Пугачев и матушка Екатерина. Обоих с первого раза наши герои не узнают. Оба проявляют неслыханное великодушие. Оба, до смешного пороку, говорят почти одинаковыми словами. «Не бойсь», – ласково кличет во сне Пугачев Гринева. «Не бойтесь, она не укусит», – комментирует Екатерина повадку своей белой собачки при встрече с Марьей Ивановной. «Долг платежом красен», – поясняет Пугачев свою невероятную щедрость. «... Я в долгу перед дочерью капитана Миронова», – вторит Екатерина.

Пушкин привык мыслить и видеть мир симметричным, что отвечало, должно быть, его изначальной склонности к поэтической гармонии, как основанию бытия. Возможно, он, вообще, исходил из двучленного, дихотомического деления и построения, господствующих в природе вещей и в сознании человека. Подобная комбинация казалась ему самой разумной, естественной и наиболее надежной, устойчивой, в особенности в дурную погоду.

Но третьей осью скреплений в обществе и в «Капитанской Дочке» служила ему – честь. Она же позволяла действовать прямо и наступательно и следовать бесстрашно вперед, сообщая сюжету поворотливость и динамичность. Недаром Пугачев на всем протяжении романа именует Гринева «ваше благородие». Иной раз – насмешливо. Но и вполне серьезно, почтительно, как бы понимая, что все доступное ему благородство в данный момент сосредоточилось в Гринева. Вон Швабрина за его бесчестье он ни во что не ставит, а честь Гринева всеми силами старается приобрести и привлечь на свою сторону. Она ему лестна: «Мы с его благородием старые приятели».

Стало быть, в Пугачеве, с точки зрения Пушкина, тоже бьется чувство чести? Безусловно. При первом же появлении в роли царя-самозванца он машет шашкой впереди войска, невзирая на картечь. Поэтому он платит Гринева сторицей за пустяковое одолжение. Поэтому лелеет в душе гениальный замысел похода на Москву. Оттого же предпочитает орла ворону в старинной калмыцкой сказке, к недомению дворянина Гринева, но внятной поэту Пушкину. И ведет себя достойно в час казни. Даже у беглого каторжника и профессионального убийцы Хлопуши срабатывают

свои – высокие и свирепые – представления о чести, как присутствуют они вообще, в разном понимании, в идее и видении русского народа у Пушкина.

Но полюс чести смещен в «Капитанской Дочке» в семейство Мироновых-Гриневых, отчего они породнились и общими усилиями противостоят мужицкому бунту. По замыслу Пушкина, идея чести, принадлежавшая дворянству, обязана распространяться затем на весь черный народ (см. Заметки Пушкина о русском дворянстве). Мы имеем дело с очередной российской – с дворянской на сей раз – утопией. На той утопии погорели декабристы. Думали, внесут свободу, независимость и честь в сознание русского люда. Но в данном случае это совсем неважно. Мы занимаемся, по счастью, текстом, а не общественным устройением. А в тексте, в ответственный момент, нужно воздеть на мачте какой-нибудь геральдический знак. Что-нибудь высшее, рыцарственное. Отвечающее лучше всего ощущению и осмыслению чести. «В самом деле она встретила меня в дверях и вручила мне шпагу...», «Я невольно стиснул рукоять моей шпаги, вспомня, что накануне получил ее из ее рук, как бы на защиту моей любезной. Сердце мое горело. Я воображал себя ее рыцарем».

Короче, в пушкинском романе мы наблюдаем еще один поворот и виток жанра. То авантюрный, то документальный, то исторический жанр. А еще внутри сидит и смеется обыкновенный жанр семейного романа. И, наконец, получите, – рыцарский роман. Разумеется, само слово «рыцарь» в наши подлые дни воспринимается с довеском реалистических опечаток. Сквозь призму, в лучшем случае, последнего в мире рыцарского романа – «Дон Кихот». И вот сошлось! По-видимому, неслучайно злобный Швабрин науськивает и пугает Гринева в Пропущенной главе: «А велю поджечь анбар, и тогда посмотрим, что ты станешь делать, Дон-Кихот белогорский».

Боже мой, подумалось, какое раздолье! Опять наш Пушкин скачет на коне впереди всей доморощенной российской гвардии, прививая ей образцы избранной мировой поэзии и прозы! Задолго до тургеневских «Степного Короля Лира» и «Гамлета Щигровского уезда», до лесковской «Леди Макбет Мценского уезда», разве что поотстав немного от «Рос-

сийского Жилблаза» Нарезного, Пушкин успел застолбить образ нашего собственного, Белогорского Дон-Кихота.

Пораскинув умом, надо признать, однако, что прапорщик Гринев все же не Дон Кихот, хотя между ними по временам проскальзывает многообещающее сходство. Подобно Дон Кихоту, Гринев, в общем-то, тоже принадлежит к ордену странствующих (или, более похожий на Пушкина, вариант у Сервантеса, к ордену блуждающих) рыцарей, учрежденному специально «для безопасности девиц» и с целью «помогать обездоленным». Когда Марья Ивановна в письме упреждает Петрушу, что «вы всякому человеку готовы помочь», она его несколько идеализирует в духе Дон Кихота, так же как его «башкирская долговязая кляча» или, по слову Савельича, «долгоногий бес» с известной натяжкой могут сойти за Росинанта. А главное, бесспорно, что в роковые решительные мгновения, отнюдь не будучи сумасшедшим, Гринев начисто отказывается от доводов рассудка и вопреки очевидности поступает, как поэт, – по внезапному наитию, по вдохновению. Скажем, берется с помощью роты гарнизонных инвалидов и полсотни неверных казаков очистить Белогорскую крепость. А нет, так он, по-донкихотски один поскачет на страх врагам освободить капитанскую дочку. Один войдет в клетку со львами (не подозревая, что львы повернутся к нему благожелательно задом). «Вдруг мысль мелькнула в голове моей...», «Странная мысль пришла мне в голову: мне показалось, что провидение, вторично приведшее меня к Пугачеву, подавало мне случай привести в действие мое намерение». И провидение выручает. Сумасбродство удается, фантазия сбывается. Поэтическая интуиция, видно, пришла по душе Пугачеву. «– И ты прав, ей Богу, прав! – сказал самозванец».

Но, может быть, пуце Гринева атмосферу «Дон Кихота» воссоздает в «Капитанской Дочке» его напарник Савельич, эта, вполне самобытная, версия Санчо Пансы. Тот, как мы помним, прославился «тем, что был самым лучшим и самым верным оруженосцем из всех, когда-либо служивших странствующим рыцарям». К Савельичу с лихвой применима также рекомендация Дон Кихота: «мой добрый, мой разумный, христиански настроенный и чистый сердцем Санчо». Дело, однако, не столько в похвальной преданности слуги господину (в чем наш крепостной раб намного обста-

вил Санчо), а в сочетании удивительной сердечной чистоты с наивным простодушием и здравым смыслом, с комической рассудительностью. Вкупе с рыцарской, доходящей порою до безрассудства, храбростью Гринева комический старик Савельич создает тот прихотливый, выющийся юмором рисунок, который сродни Сервантесу, как бы далеко ни отстояла наша неразлучная пара от испанского аналога. Сравнительно с Дон Кихотом, конечно, Гринева, средней руки дворянин, кажется одномерной и даже скучноватой посредственностью, а подвиги его, за редким исключением, не возбуждают смеха. Но верный помощник своей психологической сложностью искупает этот пробел в характере молодого барина и неуместными репликами оттеняет его поведение и заставляет совместную драматическую картину играть и щелкать, что твой соловей. Вспомним хотя бы (непреренно, с учетом контекста – по контрасту) потешные реплики Савельича: «Не упрямясь! Что тебе стоит? плюнь да поцелуй у злод... (тьфу!) поцелуй у него ручку» (под угрозой виселицы); «... И почивай себе до утра, как у Христа за пазушкой» (в первую ночь под властью Пугачева); «... А с какой собаки хоть шерсти клок» (при отъезде из Белогорской крепости); «Охота тебе, сударь, переведываться с пьяными разбойниками! Боярское ли это дело?» (стычки с пугачевцами при осаде Оренбурга); «Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?» (при отправке Марьи Ивановны в деревню).

Между тем, своего запаса чести, лишь понимаемой немного иначе, у Савельича хватает. Не меньше, чем у его строптивного хозяина. Вообще, весь этот круг знакомых просто одержим чувством и сознанием чести. «– Бесчестия я не переживу», – спокойно произносит Марья Ивановна перед лицом насилия, готовая, подобно Савельичу, погибнуть за своих избавителей и благодетелей. Ту же мысль, в принципе, мог бы повторить Пушкин, построивший жизнь в согласии с пословицей: «Бесчестье хуже смерти».

В наиболее трудную и, надо прямо сказать, крайне двусмысленную, щекотливую ситуацию (из всех этих достойных героев) попадает Гринева. Перед ним поставлена сверхличная, сверхъестественная задача. Не только честь сбереечь, как заповедано в эпитафии, но, блюдя эту треклятую честь по всем дворянским и офицерским кодексам (скажем,

пожертвовав собой, подобно капитану Миронову), в то же самое время, дополнительно (причем это второе, дополнительное условие и становится радостным, главным стимулом работы), спасти жизнь и честь оставленной ему на руках сироты – капитанской дочки Марьи Мироновой. Самому погибнуть – ему ничего не стоило. Раз плюнуть. Дворянин – как дворянин. Умирать – так умирать. Да вот беда: ему надобно выжить, чтобы вызволить сироту, подставив под удар дворянскую репутацию. Не честь, а всего лишь репутацию. Но и того достаточно. Ценой общения с Пугачевым! Ценой обвинения! Случайно...

Вне сказочного Пугачева, без сверхъестественной его помощи, ни Маше, ни Гриневу заведомо не сдобровать. И об этом следует помнить и молиться потом всю жизнь за его грешную душу. Один овчинный тулуп и лошадь чего стоят! «Без тебя я не добрался бы до города и замерз бы на дороге...» И тут же – ругань: «Выходи бесов кум!.. Вот уже тебе будет баня, и с твоею хозяйшокою!» Поймали!

Сколько раз их ловят? Сколько раз грозят смертной казнью?.. Когда весь, какой ни на есть, христианский суд идет на тебя облавой, – помянешь добрым словом Пугачева!.. Ату его! Ату!

12

Эпиграфом к последней главе «Капитанской Дочки» («Суд») поставлена пословица:

Мирская молва –
Морская волна.

Страшно в нее всматриваться. Как на дне морском различаешь: эти же волны смыли Пушкина с лица земли, с театральной сцены... Пушкинский, в последние годы жуткий, клубок жизни нам не дано разрешить. Легче распутать судебный клубок Гринева. Хотя тоже непросто. Загвоздка в том, что неколебимая честь Гринева, в результате его похаждений, странным образом раздваивается. Так что в нашем кармане уже не Дон Кихот, а скорее Гамлет. Вынужденный проплыть между Сциллой и Харибдой (между Екатериной и Пугачевым), Гринева, сам того не ведая, делит

честь на две неравные части. Это, во-первых, чувство долга перед службой, перед родиной, перед престолом. А во-вторых, голос чувства (тоже и долга), за которым, помимо любви, тянется жизнь, и честь, и гордость капитанской дочки. И вторая часть, между нами говоря, заметно перевешивает.

Лишь вмешательство Марьи Ивановны (капитанской дочки) спасает Гринева от предательства и шельмования. С какой, стати, спросим, на протяжении романа все сирота да сирота? Что, других сирот не было на ниве Пугачева? Но Марья Ивановна, как Золушка в ожидании принца, сама под конец становится рыцарем и, даст Бог, еще себя покажет. В беседе с Екатериной II, на которой Гринев, сидя в каземате, уступая эстафету, лишь «невидимо присутствовал», она произносит одну сакраментальную фразу, после чего рушатся все барьеры, все темницы и решетки. Фраза эта такая: «Он для одной меня подвергся всему, что постигло его».

Ну вот, думаю, почему Екатерина на него обиделась. Пусть Екатерина Великая имела всегда женскую слабость к храбрым офицерам и государственную в них надобность, Гринев Ее персонально обошел как-то стороной. И как-то холодно выразился: «однако же я чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы». Небось, для своей сокетной пер на рожон, манкируя императорской службой. И Великая ответила ему тоже холодно. Перечитав «Капитанскую Дочку» и разобравшись кое-как в сюжете, она, скрепя сердце, повелела всего-навсего «оправдать» Гринева (это за все его, выходит, подвиги и героизма он заслужил лишь «оправдание»). А всю честь и похвалу воздала Марье Ивановне за ее ум и сердце, посадив рядом с собою. И продолжала тихо покоиться на скамейке противу памятника графу Румянцеву, которого, по свидетельству Пушкина (Заметки к «Истории Пугачева»), не долюбливала «за его низкий характер», но, должно быть, созерцала в мечтах взятие Стамбула и неприступность русских границ... Образ ее царствования и управления, комментирует дотошный историк, всегда имел вид только что одержанной военной победы. В таком именно виде и запечатлел ее Пушкин на последних страницах «Капитанской Дочки».

Но о чем думал автор, сам на этих страницах попавший

в капкан? О том, что выдуманные истории рано или поздно сбываются? Что без риска не бывает искусства, а трус не играет в карты? Или, чтоб скорее убили? Гей, Данзас! Краткость и точность – вот первые достоинства прозы. Что всякий роман должен походить на шпагу? В завершение романа сама Марья Ивановна подняла шпагу, выпавшую из руки жениха. А вот жена не подняла. Побоялась. Через всю жизнь вытянуть текст, как шпагу? Она длинная и острая на конце. Как фабула романа. Но, заметьте, едва мы сказали «фабула», она уже вибрирует. Вращается. Сверкает и трепещет в пальцах дуэлянта. Выпад!

– Ан-гард! – кричал пьяный Бопре на уроках фехтования.

– Батман! Еще раз батман! Ангаже!..

Пушкин наклонился и начал медленно падать.

Место дуэли, помеченное памятником, заставило остановиться и посмотреть по сторонам. Памятник смахивал на знаменитый обелиск в конце романа, воздвигнутый графу Румянцеву императрицей Екатериной. Впрочем, еще не известно, говорили знатоки, где в точности стрелялся Пушкин, здесь, на лужайке, или вон там, на засекреченной территории авиационного завода, если перейти шоссе.

– Не бзди в тумане и не подавай гудки! – сказал самому себе какой-то поддавший с утра прохожий. Должно быть, моряк, речник, вяло подумал я, водный транспорт, и еще раз огляделся. Невдалеке, на садовой скамье, плакала капитанская дочка...



Юрий Дружников

"С ПУШКИНЫМ НА ДРУЖЕСКОЙ НОГЕ"

Перелистаем одну из наиболее объемистых книг в обширной литературе о дружбе двух крупнейших русских писателей. В труде Г.Макогоненко "Пушкин и Гоголь" часто звучат выражения "дружба двух писателей", "история дружбы", "литературная дружба", "дружеские связи", "дружеская близость" и т.д.¹ Важность этой дружбы для иерархического порядка в русской классической литературе, для лестницы преемственности так называемых прогрессивных традиций реализма не вызывает сомнений. Но соответствует ли давно ставший хрестоматийным взгляд реальным контактам между Пушкиным и Гоголем?

"Долгое время изучение отношений Гоголя с Пушкиным не было критическим, - писал В.Гиппиус. - версия о близкой дружбе двух великих писателей не пересматривалась, не уточнялась".² Между тем, разные взгляды на их дружбу существовали всегда. "По словам Нащокина, Гоголь никогда не был близким человеком к Пушкину", - писал еще Бартенев.³ Элементы критики содержатся в статьях В.Каллаша, В.Брюсова, Б.Лукьяновского и А.Долинина.⁴ В.Вересаев, цитируя в своем титаническом труде "Гоголь в жизни" обширные материалы, переписку Гоголя и Пушкина почти не приводит. В советском литературове-

дении эта дружба рассматривалась в основном апологетически. Отношение западных славистов к этой дружбе можно назвать сдержанным, скептическим, а иногда, как мы увидим дальше, ироническим. "А реальной близости между Пушкиным или Жуковским и Гоголем никогда не было", - отмечает Д.Мирский.⁵

У истоков мифа об этой дружбе стоял Белинский, строивший схему развития литературы и поместивший своего друга Гоголя "вместе с Пушкиным во главе русской литературы".⁶ Белинский считал прозу Пушкина слабой, а творчество Пушкина закончившимся в начале тридцатых годов. Критик создал ему альтернативу в качестве Гоголя как нового лидера литературы. Белинский писал, что "в настоящее время он (Гоголь. - Ю.Д.) является главою литературы, главою поэтов; он становится на место, оставленное Пушкиным". И даже - "...мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени..."⁷ Еще один шаг - и мы можем использовать в литературе пролетарские бюрократические формулы. Педалирование полезности сделалось важным для марксистской критики: Гоголь разоблачал крепостнический строй, как бы усиливая более нейтральную позицию Пушкина.

Чернышевский, а вслед за ним Ленин преувеличивали политическое значение Гоголя в литературе как критика самодержавия. Чернышевскому дружба Гоголя с аристократом Пушкиным мешала, и он ее "устранил". Ленин писал, что новая литература "пропитана сплошь" "идеями Белинского и Гоголя".⁸ Для этого необходимо было укрупнить роль последнего, сделать основоположником, приравнять Гоголя к Пушкину. И советское литературоведение эту роль выполняло.

Смену оценок удобно проследить на примере уже цитированного нами Гиппиуса. "Личная близость Гоголя к Пушкину в гоголевской литературе заподозрена и прежняя идеализация их личных отношений - поколеблена", - это слова Гиппиуса, сказанные в начале двадцатых годов.⁹ Став заместителем главного редактора полного академического собрания сочинений Гоголя, Гиппиус

перестает колебать идеализированные другими отношения двух классиков. Оказывается, "в позднейших рассказах Гоголя о своей литературной близости к Пушкину (о личной близости он никогда не говорил) - нет никаких оснований видеть неискренность".¹⁰ В комментарии к полному собранию сочинений (данный том вышел в 1940 году) вообще теряется чувство меры: "Пушкин - литературный советчик уже завоевавшего себе литературное имя Гоголя".¹¹

Причины, по которым Гиппиус пошел на компромисс, понятны. А по сути, в том-то и дело, что Гоголь говорил в первую очередь о близости Пушкина к нему. Именно это было важно для Гоголя, который, по выражению А.Синявского, пушкинскую "благословляющую руку сам же на себя возлагал... нужно было с Пушкиным быть на дружеской ноге, чтобы от него, от величайшего из поэтов России, вести свой счет, свою генеалогию - прозы".¹²

Постепенно советское литературоведение улеглось на ложе официального мифа: Пушкин - основоположник современной литературы, Гоголь - лидер критического реализма, "непосредственный продолжатель и наследник Пушкина".¹³ Томашевский отмечал: "...почти все основные вещи Гоголя были написаны в период его общения с Пушкиным и под непосредственным руководством Пушкина".¹⁴ Макогоненко еще углубляет эти отношения, помещая обоих писателей в одну упряжку: "Связь двух писателей, как известно, носила двойкий характер - дружеский и творческий".¹⁵ Наконец, Пушкину присваиваются должности "литературного наставника, советчика, воспитателя молодого Гоголя" и "собрата по перу".¹⁶

Относясь сдержанно к этому братству, критик И.Золотусский отмечает: "И вместе с тем нет в России людей, более близких в то время, чем Пушкин и Гоголь".¹⁷ В биографии Гоголя того же автора, опубликованной в серии "Жизнь замечательных людей", рассказывается история о том, как Гоголь, впервые приехавший в Петербург, поспешил навестить Пушкина. Но у самых дверей его комнаты до того оробел, что убежал в кондитерскую и выпил там для храбрости рюмку ликеру. Снова явившись и узнав от слуги, что Пушкин почивает, Гоголь с участием

спросил: "Верно, всю ночь работал?" - "Как же, работал, - отвечал слуга, - в картишки играл".¹⁸ Важна тут не сама эта история, заимствованная, как известно у Анненкова, записавшего ее со слов самого Гоголя, а ее советская публикация, которая вызвала протесты ортодоксальной критики.¹⁹

Попытаемся рассмотреть отношения этих двух писателей с нескольких точек зрения: 1) Как представлял эту дружбу Гоголь; 2) Как представлял эту дружбу Пушкин; 3) Какой видели ее их современники; 4) Как толковались их отношения историками литературы; наконец, 5) Какой видится она нам сегодня. Части эти, однако же, настолько смешаны, что разделить их не представляется возможным и станем рассматривать их вместе.

В 1832 году Гоголь написал статью "Несколько слов о Пушкине" (опубликована в "Арабесках" в 1834-м). Именно здесь имеется известное гоголевское высказывание: "Пушкин есть явление чрезвычайное и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в конечном его развитии, в каком он, может быть явится через двести лет". Что значит - в конечном развитии? Почему через двести, а не сто или триста? На чем базируется эта оценка? Она представляет собой замечательный образец русского утопического мышления.

В статье Гоголя нет анализа произведений Пушкина. Она полна неумеренных восхвалений живого поэта. Одно слово повторяется много раз: "ослепительный": мелкие сочинения Пушкина "ослепительны", картины, им нарисованные, "ослепительны", плечи, им изображенные, "ослепительны", наконец, "всё исполнено внутреннего блеска". Пушкину противопоставляются все другие поэты, коих Гоголь называет "досужими марателями". Как замечает А.Дубовиков, "Гоголь выразил восторженное преклонение перед Пушкиным".²⁰

Но, пожалуй, самое интересное - вывод, который делает Гоголь, и этот вывод не оставляет сомнения, что статья писалась для одного читателя, а именно для Пушкина. Воздав многократно повторяемую хвалу гению, отругав его хулителей и заявив, что только избранные могут оценить величие этого поэта, Гоголь заключает:

"Чем более изображает он (Пушкин - Ю.Д.) чувства, знакомые одним поэтам, тем заметней уменьшается круг обступившей его толпы и, наконец, так становится тесен, что он может перечесть по пальцам всех своих истинных ценителей". В числе этих истинных ценителей великого учителя Гоголь почитал первым себя.

Лесть - лучший способ вскружить голову не только женщине. Гоголь пишет Жуковскому в сентябре 1831 года, что начало его сказки "чуть не свело меня с ума". В этом же письме Пушкина он называет "ангел святой", а себя "верным богомольцем" их обоих. Если существует понятие "восточная лесть", то именно в восточном стиле льстит Гоголь Пушкину безо всякого смущения. Петь ему дифирамбы с письменным извещением знакомых и родни Гоголь начал, едва успев появиться в Петербурге после окончания гимназии. Проще говоря, Гоголь постоянно использовал имя Пушкина для придания значительности себе. Но неразумно усматривать в этом одну корысть. Сжигая перед смертью свой архив, Гоголь отложил и оставил письма Пушкина.

Пушкин любил посвящать стихотворения друзьям и даже случайным знакомым, однако ни единой стихотворной строки его, упоминающей Гоголя не имеется. Обычно утверждается, что существует девять писем Гоголя к Пушкину и четыре - Пушкина к Гоголю. Пушкин и Гоголь виделись первый раз в 1831-м и последний раз пять лет спустя в 36-м. После 1834-го Пушкин на письма Гоголя не отвечал. 6 июня 1836 года Гоголь уехал за границу. Пушкин любил прощаться и провожать уезжавших за границу, но похоже, об отъезде Гоголя поэт даже не знал.

Если полагаться на воспоминания, чтобы выйти на Пушкина, Гоголь находит повод познакомиться с добряком Дельвигом. Через Дельвига он представлен Жуковскому, а Жуковским - издателю Плетневу, который посылает Пушкину первую гоголевскую книжку. По-видимому, Пушкин услышал о существовании Гоголя из письма Плетнева от 22 февраля 1831 года. Плетнев (скорей всего, по просьбе самого Гоголя) переправил Пушкину книжку укрывшегося под псевдонимом начинающего автора, не преминув сообщить настоящее имя.

В письме к Плетневу спустя почти два месяца (около 14 апреля) Пушкин, между критикой Деларю и просьбой снять для него дачу подешевле, замечает: "О Гоголе не скажу тебе ничего, потому что доселе его не читал за недосугом". Пушкину не до Гоголя: он только что женился в Москве и занят поисками в Царском Селе летней дачи, в которой ему, при его стесненных средствах, предстояло разместить молодую жену, себя и человек шесть или семь прислуги.

Гоголь, так настойчиво искавший встречи с Пушкиным, увидел его 20 мая 1831 года в Петербурге на вечере, который устроил Плетнев. За пару дней до этого Пушкин с женой приехал из Москвы в Петербург и остановился, как всегда, в Демутовом трактире, а затем перебрался на дачу.

Можно ли переоценить важность для Гоголя этого знакомства и честолюбивые причины, по которым Гоголь этого добивался? Честолюбие Гоголя - тема особая; без честолюбия, кажется, вообще не возможно быть писателем. Для начинающего поэта-романтика из провинции важно было услышать слово Мэтра, а главное, нужна была протекция для входа в большую литературу.

Сопоставим краткие их данные к началу так называемой дружбы.

Пушкину 32. Он крупнейший поэт России, признанный гений. Каждый его шаг, слово, жест становятся известными, записываются в дневниках, пересказываются в письмах современниками. Круг его друзей давно сложился, они его ровесники или старше. Они все живые классики, аристократы, элита, большинство имеет контакты с царской семьей. К тому же Пушкин занят обустройством семейной жизни.

Гоголю 22. Это вчерашний школьник. Едва окончив гимназию в глубокой провинции, приехал в столицу и горит замыслами доказать маменьке и родственникам, что они посылают ему деньги не зря. Он беден, ищет заработки. Он начинающий литератор, печатается под псевдонимами Ганс Кюхельгартен, П.Глечик, Г.Янов, пасечник Рудый Панько, Оооо (скорей всего, выписав четыре "о" из своего имени и двойной фамилии Николай Гоголь-Янов-

ский) и вообще без подписи. Словом, у него еще нет имени, но он горит мечтой о славе.

Сначала Пушкин в Москве, Гоголь в Петербурге. Затем Пушкин в Царском Селе в огромной даче, Гоголь в Павловске, в каморке, по соседству с прислугой. Пушкин с красавицей-женой гуляет в парке, беседуя с императрицей. Гоголь ходит из Павловска в Царское Село пешком – это свыше часу ходьбы через лес – и также возвращается назад. Для заработка он устроился репетитором к дебилному сыну князя Васильчикова. Благодаря невероятным стараниям Гоголя, он видится с Пушкиным.

М.Цявловский в "Путеводителе по Пушкину" отмечает: "Между июля 17 и августа 15 (1831 год). Встречи П. с Гоголем и Жуковским".²¹ Это, как принято считать, период возникновения дружеских отношений. И даже, по В.Шенроку, биографу Гоголя, "Пушкин делает его своим фаворитом".²² В достоверности подобных сообщений надо разобраться.

Гоголь пишет матери: "Письма адресуйте ко мне на имя Пушкина, в Царское Село, так: Его Высокоблагородию Александру Сергеевичу Пушкину. А вас прошу отдать Н.В.Гоголю". В следующем письме Гоголь напоминает: "Помните ли вы адрес? на имя Пушкина, в Царское Село".

Для родственников Гоголя в провинции это сенсация. Говоря ходячей цитатой из "Ревизора": "С Пушкиным на дружеской ноге. Бывало, часто говорю ему: "Ну, что, брат Пушкин?" Задуман трюк с почтой лихо. Однако Пушкин на выполнение секретарских поручений для Гоголя разрешения не давал, и назвать подобную проделку бестактностью – значит сказать весьма мягко. В результате Гоголю пришлось извиняться, лгать. "Приношу повинную голову... Здесь я узнал большую глупость моего корреспондента... Может быть, и ругнете меня лихим словом, но где гнев, там и милость". Кстати, Гоголь позже в письме к Жуковскому от 22 февраля 1847 года сам назвал себя Хлестаковым. Похоже, зрелый Гоголь, понимая, кто есть кто, откровенно сочинял сказку о своей дружбе с Пушкиным.

Обычно письма Пушкина к друзьям – он любил и умел их писать – длинные, содержательные, богатые мыслями. В первом письме (25 августа 1831), состоящем из пятнадцат-

цати строчек, Пушкин отвечает на два длинных письма Гоголя. Гоголь поехал в Петербург, и Пушкин поручил ему передать издателю Плетневу письмо и рукопись "Повестей Белкина". Сообщив о выполнении поручения, Гоголь подробно рассказывает о восторге, с которым в типографии читали его собственную книгу наборщики (что мало похоже на правду). Затем Гоголь ругает врагов Пушкина, доказывая, что он единомышленник, всецело разделяет его взгляды, что враги Пушкина - его враги, что он *свой*.

Пушкин, отвечая, обращается к Гоголю: "Любезный Николай Васильевич" и "на вы". Известно, что у Пушкина большой набор приветствий к друзьям ("Милый мой", "Друг мой", "Бесценный друг" и т.п.) "Любезный" часто встречается у Пушкина в письмах к знакомым, но "любезный" также и - прохладное обращение к чиновнику или малознакомому человеку на улице. Кроме того, "любезный" имеет и другое значение: обращение к человеку нижестоящему в табеле о рангах, а также хозяина к слуге ("Пошел вон, любезный, да поживей!"). В любом случае, "Любезный Николай Васильевич" - обращение к молодому человеку старшего говорит о дистанции. Пушкин благодарит Гоголя за письмо и доставку посылки. Он иронически относится к гоголевскому "проекту ученой критики" ("Вы слишком ленивы, чтобы привести его в действие") и поздравляет "с фырканьем наборщиков". Пушкин поправляет Гоголя, что его жену зовут не Надежда Николаевна, а Наталья Николаевна. Последнее говорит больше об истинности отношений двух писателей, чем все уверения Гоголя.

В письме в "Литературные приложения к "Русскому инвалиду" Пушкин отмечает веселость, поэзию и чувствительность "Вечеров на хуторе близ Диканьки" и желает автору дальнейших успехов. Значительная часть этого краткого письма посвящена байке, рассказанной ему Гоголем о смехе наборщиков. Гоголь "скорей всего это приукрасил", - считает В.Набоков.²³ Письмо Пушкина было опубликовано не отдельно, а включено издателем в рецензию другого автора - Л.Якубовича.

2 ноября Гоголь пишет своему однокласснику А.С.Данилевскому письмо, фрагмент которого является главным доказательством дружбы с Пушкиным и цитируется часто: "Всё лето я прожил в Павловске и Царском Селе... Почти каждый вечер собирались мы: Жуковский, Пушкин и я". Заявление Гоголя "почти каждый вечер" принимается многими исследователями за истину. Если так, Гоголь и Пушкин виделись в этот период множество раз. Гоголь мог узнать о Пушкине много подробностей, но никаких фактических деталей, кроме общеизвестных, нет в его воспоминаниях.

В письме, написанном по следам "почти" ежевечерних встреч, Гоголь говорит неправду, что он живет в Царском Селе. Гоголь называет повесть Пушкина "Кухарка", тогда как она "Домик в Коломне". Он упоминает сказку Пушкина. Имеется ввиду, без сомнения, "О попе и работнике его Балде", но эта сказка написана Пушкиным раньше, в Болдине; Гоголь мог слышать о ней и не от Пушкина. О Жуковском, которого давно знала вся читающая Россия не меньше Пушкина, Гоголь делает открытие: "Кажется, появился новый обширный поэт..." Встречи на равных почти каждый вечер двух великих поэтов с бывшим гимназистом из провинции - результат воображения. И для чего Гоголю писать Пушкину, если он видится с ним почти каждый вечер? Золотусский замечает: "Круг Пушкина и Жуковского был далек от круга Гоголя, и хорошо, если Гоголю удалось побывать у Пушкина раз другой".²⁴

Следующий раз Гоголь пишет Пушкину спустя два с половиной года (то есть переписки как таковой нет). Зато в письмах Гоголя разным знакомым то и дело мелькают имена Пушкина, Жуковского, Крылова. Так, 23 августа 1834 года Гоголь пишет этнографу М.А.Максимовичу: "Наши все почти разъехались: Пушкин в деревне, Вяземский уехал за границу для поправления здоровья своей дочери". "Наши"... Во многих письмах друг Пушкин упоминается кстати и некстати, вроде: "Пушкин уже почти кончил Историю Пугачева". То есть как бы Пушкин постоянно делится с Гоголем своими творческими планами. Но информация обычно такая, которую знают все.

Второе послание Пушкина к Гоголю написано спустя два с половиной года (около 7 апреля 1934): "Вы правы - я постараюсь. До свидания". Итак, не письмо - записка из шести слов. Гоголь просил Пушкина замолвить о нем словцо министру просвещения С.С.Уварову, чтобы получить должность в открывающемся Киевском университете, а Пушкин забыл. Между прочим, к записке Пушкина Гоголь отнесся безо всякого душевного трепета, ибо прямо на записке, перпендикулярно, написал письмо М.Максимовичу.

В третьем ответе Пушкина Гоголю, написанном примерно месяц спустя, 13 мая, четыре строки - опять по поводу протекции, которой домогался Гоголь под предлогом, что тяжелая болезнь требует его скорейшего отъезда из Петербурга. Гоголь снова просил подтолкнуть дело. Пушкин отвечает: "Я совершенно с вами согласен. Пойду сегодня же назидать Уварова и кстати о смерти "Телеграфа" поговорю и о Вашей. От сего незаметным и искусным образом перейду к бессмертию, его ожидающему. Авось уладим". На письмо Гоголя Пушкин ответил тут же, с посылным.

За несколько месяцев он так и не собрался поговорить с министром просвещения насчет службы для Гоголя. И тут "смерть" "Московского телеграфа", запрещенного недавно цензурой, в разговоре будет на первом месте, а трудоустройство Гоголя потом. Но поговорил ли Пушкин с Уваровым, неизвестно. Во всяком случае, Гоголь должности не получил.

Наконец, четвертая записка (три с половиной строки, примерно пять-шесть месяцев спустя, после возвращения Пушкина из Болдина) ответ на принесенную Гоголем повесть "Невский проспект", в которой цензура выбрасывала сцену, где поручика Пирогова секли немцы-ремесленники. "Прочел с большим удовольствием, - пишет Пушкин, - кажется, всё может быть пропущено. Секуцию жаль выпустить: она, мне кажется, необходима для полного эффекта вечерней мазурки. Авось Бог вынесет". Гоголь спросил - Пушкин ответил, не вдаваясь в детали.

Итак, фактически Пушкин написал Гоголю не четыре письма, как утверждается, а одно короткое письмо и три

записки. Гоголь Пушкину написал не девять писем, а четыре. Остальные пять - тоже записки в несколько строк с разными просьбами.

С конца июня по 30 октября 1832 года Гоголь уезжал и видаться они не могли. В 33-м в хронологиях отмечен замысел В.Ф.Одоевского и Гоголя издать совместно с Пушкиным альманах "Тройчатка"²⁵, подробности которого не известны, но известно, что ничего сделано не было.

"С зимы 1833-34 гг. отношения П. с Г. становятся особенно близкими", - полагает Ю.Оксман.²⁶ Утверждение строится в основном на том, что 2 декабря 33-го Гоголь читал Пушкину "Повесть о том, как поссорились..." и Пушкину она понравилась. Доказательств "особенно близких отношений" и в этот период нет. В 34-м Гоголь при посредничестве Плетнева прочитал несколько лекций по всеобщей истории; на одной из них якобы присутствовал Пушкин, одобрительно отозвавшийся о лекции.²⁷ Но и это не подтверждено. С мая по сентябрь 35-го Гоголя снова не было - видаться они не могли. Еще один неподтвержденный факт, о котором сообщает Цявловский: 4 апреля 1836 года "Чтение Гоголем на "субботе" Жуковского рассказа "Нос", вероятно, в присутствии Пушкина",²⁸ что опять-таки не доказано.

Похоже, Пушкин не очень стремится видаться с Гоголем. Тот периодически просит прочитать и поправить его тексты, похлопотать за него, замолвить слово. В записке от конца декабря - начала января 35-го Гоголь пишет: "Жаль однако ж, что мне не удалось видаться с вами". А 7 октября - "Решаюсь писать к вам сам; просил прежде Наталью Николаевну, но до сих пор не получил известия". Гоголь заходит к Пушкину, того нет, просит передать, Мэтр не реагирует. Равнодушие Пушкина и дистанция между ними налицо. Шенрок писал: "Оба (Пушкин и Жуковский. - Ю.Д.) относились к Гоголю как писателю, только подающему надежды".²⁹

Широко известно утверждение, что в 1835 году Гоголь получил от Пушкина сюжет "Мертвых душ". Существует много источников, касающихся подарка. Одни из них, оговаривают, что это предположение. Другие, признавая факт, считают, что "конкретные обстоятельства этой

"передачи" в литературе не выяснены до конца".³⁰ Третьи утверждают категорически: "Сюжет "Мертвых душ" был дан Гоголю Пушкиным".³¹ Или: "Дал сюжеты "Ревизора" и "Мертвых душ".³² Но первоисточник информации - сам Гоголь. Особенно важно, когда он стал это утверждать.

Пушкину Гоголь написал, что "начал писать "Мертвых душ", - странно, однако, что нет ни намека на подарок, ни "спасибо". В 1836 году в письме к Жуковскому из-за границы, подробно описывая замысел "Мертвых душ", Гоголь ни словом не обмолвился о подарке Пушкина. Говорить об этом Гоголь начал только в марте 37-го, узнав о смерти Пушкина. Сначала в письме Плетневу из Рима Гоголь пишет о своих отношениях с Пушкиным туманно: "Ни одна строка не писалась без того, чтобы я не воображал его пред собою... Боже! Нынешний труд мой, внушенный им, его создание..." Означает ли "внушенный им", что Пушкин: а) рассказал Гоголю сюжет "Мертвых душ" и б) подарил, то есть, точнее, разрешил им воспользоваться?

Через десять лет после смерти Пушкина, в "Авторской исповеди", тема развивается в большую новеллу, детали которой не подтверждаются из независимых источников. Гоголь пространно рассказывает, как восхищался Пушкин его способностями и творчеством, призывал равняться на Сервантеса, и - как отдал ему, Гоголю, "свой собственный сюжет, из которого он хотел сделать сам что-то вроде поэмы". Далее Гоголь, сжато передавая фабулу уже написанной им книги, рассказывает, как Пушкин обсуждал с ним, чем хорош этот сюжет именно для него, Гоголя.

В 35-м Гоголь писал Пушкину: "Мне хочется в этом романе показать хотя с одного боку всю Русь". Теперь, спустя 12 лет, Гоголь пишет, что Пушкин ему советовал "изъездить вместе с героем всю Россию". Про впечатления Пушкина от чтения "Мертвых душ" ("Боже, как грустна наша Россия!") мы также знаем только от Гоголя. Набоков по этому поводу замечает: "тоже, кажется, придумано Гоголем".³³ Бросается в глаза противоречие: если Пушкин сам подарил Гоголю сюжет и объяснил, что можно им показать всю Россию, то почему Пушкин так удивился, когда Гоголь читал ему первые главы "Мертвых душ" и

даже в удивлении собственным сюжетом воскликнул: "Боже!" Кстати, это "Боже!" постоянно встречается в текстах Гоголя и крайне редко у Пушкина.

В мемуарах племянника Пушкина Л.Павлищева и у П.Анненкова проскальзывает мысль о том, что Гоголь самовольно воспользовался рассказанным ему Пушкиным замыслом. Эта нечистоплотность Гоголя, по мнению Павлищева, явилась причиной охлаждения к нему Пушкина. Мнению этому нет подтверждений и, думается, мысль М.Храпченко, что факты противоречат этому, не лишена резона.³⁴

Еще более туманна история сюжета "Ревизора". Гоголь принес Пушкину комедию "Женитьба" читать "для замечаний", а тот ее, по-видимому, не стал читать. "Сделайте милость, дайте какой-нибудь сюжет, хоть какой-нибудь смешной или не смешной, но русский чисто анекдот", - просит Гоголь. 7 октября 1935 года он написал Пушкину письмо с просьбой вернуть ему комедию и просит сюжет другой комедии. Желание Гоголя получить "социальный заказ" (а значит, и благословение) от самого Пушкина понятно. В конце октября, согласно легенде, Пушкин отдал Гоголю сюжет "Ревизора".³⁵ Подарок такой возможен, но, к сожалению, основной свидетель события - опять-таки один Гоголь.

В подтверждение версии об этом подарке Пушкина Оксман³⁶ ссылается на незаконченный отрывок Пушкина "В начале 1812 года...". Однако в отрывке говорится о группе молодых офицеров, расквартированной в уездном городе, которые проводили время с женщинами на вечеринках и, в частности, посещали дом городничего, который был взяточник и у которого были жена и дочь. Сюжета с ревизором здесь нет. Этот отрывок Пушкин опубликовал в 1831 году - и Гоголь мог его просто прочитать. Кроме того, замысел сей частично совпадает с "Метелью", рукопись которой Гоголь по просьбе Пушкина увез из Царского Села в Петербург издателю, и она вскоре была опубликована. Но все это говорит не о подарке Пушкина, а о простом влиянии, или, говоря строже, заимствовании.

Другим аргументом считается пушкинский черновик из трех строк "Криспин приезжает в губернию на ярмонку - его принимают за... Губернатор честный дурак...- Губернаторша с ним кокетничает - Криспин сватается за дочь". Дата написания неизвестна. Криспин во французских и итальянских комедиях - постоянно встречающийся плут-слуга. "Принимают за" - типичное *quid pro quo*, на котором строится множество комедий во все времена. Опираясь на эти три строки, трудно доказывать, что Пушкин подарил Гоголю сюжет "Ревизора"³⁷.

Более существенно, что в то время уже существовала известная комедия украинского писателя Г.Ф.Квитки "Приезжий из столицы, или суматоха в уездном городе", где была обыграна точно такая же история. И - за год до этого в серии "Библиотека для чтения" (а Гоголь ее внимательно читал) появилась повесть А.Ф.Вельтмана "Провинциальные актеры", где тоже обыгрывался знакомый сюжет.

В связи со слабостью доказательств Гиппиус предлагает такой вариант: "уступка" Пушкиным Гоголю сюжета "Мертвых душ, а также начало работы Гоголя над "Ревизором" произошло "в результате рассказанных Пушкиным анекдотов".³⁸ Макогоненко спасает легенду следующим толкованием: "Гоголь попросил у Пушкина *сюжет*, а Пушкин дал ему *мысль!*"³⁹ Еще более расширяет возможность заимствования вне Пушкина Золотусский: сюжет "носился в воздухе, он уже был почти фольклорным".⁴⁰

Устраивая комедию в театр, Гоголь нигде в письмах не отмечает, что Пушкин подарил ему сюжет, хотя это могло помочь принятию пьесы. Между тем Гоголь охотно, как мы знаем, использовал имя Пушкина. Панаев позже писал, что Пушкин во время чтения комедии у Жуковского "катался от смеха", но это перекочевало в воспоминания Панаева из воспоминаний Гоголя.⁴¹ Присутствовал ли Пушкин на чтении, неизвестно. Таким образом, факты дачи Пушкиным двух сюжетов Гоголю остаются не доказанными, хотя и не опровергнутыми.

Поздний Пушкин относился к Гоголю более критически. Говоря о "Вечерах на хуторе близ Диканьки" в "Современнике" за 1836 год, он отмечал живую манеру письма

Гоголя и - "неровность и неправильность его слога, бессвязность и неправдоподобие некоторых рассказов". "Невинные, на взгляд, вкусовые различия, - отмечает А.Синявский, - имели далеко идущие последствия и свидетельствовали в конечном счете о пропасти, отделявшей Гоголя от Пушкина".⁴²

Пушкин привлек Гоголя к журналу "Современник". Здесь были опубликованы "Коляска" и "Утро делового человека". Оксман пишет, что в "Современнике" Гоголь вел "всю редакционно-техническую работу".⁴³ Это преувеличение. Пушкин предложил Гоголю заняться критикой. Но как критик Гоголь оказался многословен, лишен дара анализа произведения и, как оказалось, не способен ориентироваться в литературной жизни. Это отдельная тема, но в доказательство сошлюсь на статью Гоголя "Борис Годунов, поэма Пушкина", в которой на нескольких страницах говорится о чем угодно, только не о самой драме Пушкина.

В первом номере "Современника" за 1836 год появилась статья Гоголя (без подписи) "О движении журнальной литературы". Статья описывала всё, что печаталось в обеих столицах, в негативных, а иногда и просто в бранных оценках: "Бесцветность была выражением большей части повременных изданий", "скудость и постный вид наших журналов", "ничего свежего", "невежество". Гоголь разносит в пух и прах всех издателей, редакторов, авторов поименно, не найдя для них доброго слова. Всеобщий взрыв негодования поставил журнал Пушкина под угрозу существования. Пушкин решил резко отмежеваться от Гоголя.

Как сей литературный погром мог появиться, остается загадкой. По-видимому, это произошло без ведома самого издателя, то есть Пушкина. Во всяком случае, в третьем номере Пушкин оправдывается: "Обстоятельства не позволили издателю лично заняться печатанием первых двух номеров своего журнала; вкрались некоторые ошибки..." Пушкин вынужден публично обещать не критиковать книги, которые Гоголь отметил звездочками для аналогичного растерзания в следующей статье.

Затем Пушкин (под псевдонимом А.Б., "Современник",

№ 3) отмежевывается от Гоголя в пространном "Письме к издателю". Статья, пишет Пушкин, "не соответствует тому, чего ожидали мы". Гоголь упрекается в том, что хвалит одних за то же самое, за что негодует на других, то есть в беспринципности, и даже иногда в отсутствии чувства юмора, за который Пушкин хвалил его в рекламе книги "Вечеров" в первом номере журнала. Публичная характеристика, которую дает Пушкин Гоголю, звучит весьма уничижительно: "Если бы с независимостью мнений и с остроумием своим соединял он более учености, более начитанности, более уважения к преданию, более осмотрительности - словом, более зрелости, то мы бы имели в нем критика весьма замечательного". Статья заканчивается в язвительном тоне надеждой, что критик избегнет в своей критике недостатков, так строго и так справедливо осужденных в его собственной статье.

В той же третьей книжке "Современника" Пушкин, видимо, считая, что одного выступления недостаточно, косвенно касается Гоголя еще раз. В статье "Мнение М.Е.Лобанова о духе словесности" он говорит о критике, которая относится с неуважением к именам ("первый признак невежества и слабomyслия"). Наконец, как прямой разрыв (хотя и без имени Гоголя) звучат слова издателя в еще одной "оправдывающейся" заметке: "Издатель "Современника" принужден объявить, что он не имеет чести быть в сношении с гг. журналистами, взявшими на себя труд составить за него программу, и что никогда им того не поручал".

У Гоголя остались материалы, которые он намеревался опубликовать в "Современнике", но доступ в журнал для него был закрыт. Оксман пишет, Гоголь был "больно задет".⁴⁴ Но Пушкин, похоже, исчезновения Гоголя из своего окружения просто не заметил.

На этом закончились их отношения. 6 июня 1836 года Гоголь выехал за границу. Набоков замечает: "Говорилось, что накануне его (Гоголя. - Ю.Д.) отъезда Пушкин, которого он больше не видел, посетил его и провел всю ночь, просматривая его рукописи и читая начало "Мертвых душ"... Картина приятная, пожалуй, слишком приятная, чтобы быть реальной".⁴⁵ Из заграницы Гоголь не

написал Пушкину ни строки, лишь Жуковскому пожаловался: "Даже с Пушкиным я не мог проститься; впрочем, он в этом виноват".

Спустя десять лет, однако, собственная роль в пушкинском "Современнике" стала видеться Гоголю совсем в ином свете. Оказывается, не Пушкин предоставил Гоголю возможность напечататься в своем журнале, а он, Гоголь "умолил" Пушкина издавать "Современник". Больше того, как вспоминает Гоголь, он оказался более даровитым журналистом, чем Пушкин. "В статьях моих он находил много того, что может сообщить журнальную живость изданию, какой он в себе не признавал". И - ни слова про конфликт. В "Выбранных местах из переписки с друзьями" Гоголь уже весьма произвольно использует Пушкина и искажает его взгляды для подкрепления его авторитетом своей позиции в социальной критике русского общества.

Вяземский писал А.Тургеневу: "Гоголь от избытка веселости часто завирается..."⁴⁶ Фантазия Гоголя распространялась не только на сюжеты, но даже на даты. Так, Н.Тихонравов установил, что Гоголь произвольно менял годы написания своих статей в сборнике "Арабески", чтобы представить их как давно написанные и тем избежать упреков критики.⁴⁷ Гоголь часто выдавал желаемое за достигнутое, собственную выдумку за реально существующее. Он рассказывал о своих интимных связях с женщинами, с которыми у него ничего не было. Мечтатель и фантазер, он придумывал человеческие отношения не только в прозе, но и в делах. Так же он постоянно надувал фантазией и свою дружбу с Пушкиным.

Жизнь Пушкина, основные события в ней проходили мимо Гоголя. То, что писал Гоголь о Пушкине, по словам Б.Бурсова, "характерно именно для легенды, а не для литературно-критической характеристики".⁴⁸ Часто встречающиеся в исследованиях многозначительные фразы типа: "Гоголь знакомил Пушкина со своими литературными планами, читал ему сам новые произведения или присылал на предварительный просмотр в рукописи..."⁴⁹, - обобщают то, что имело место лишь несколько раз, создавая ложную картину перманентных личных и творческих отношений.

Русское слово *дружба* не адекватно сути английского *friendship*. Дружба для Пушкина - это многолетние отношения глубокой духовной близости, взаимной открытости, доверия, понимания, а главное, бескорыстия. Большая дистанция лежит между значениями *друг* и *приятель*. *Приятель* ближе по смыслу слову *знакомый*, а знакомых той или иной степени приближенности у Пушкина зарегистрировано 2700.⁵⁰ У Пушкина с Гоголем были, говоря современным языком, периодические деловые контакты, которые стимулировал Гоголь. В жизни Гоголя Пушкин сыграл решающую роль. Для Пушкина Гоголь был одним из молодых литераторов. Возможно, именно его Пушкин мимоходом помянул в рукописи "Путешествие из Москвы в Петербург", назвав "одним из моих приятелей, великим меланхоликом, имеющим иногда свои светлые минуты веселости". Повторим эти слова: "одним из моих приятелей".

Спустя почти полвека, однако, внучка поэта Мария Пушкина вышла замуж за поручика гусарского полка Николая Быкова, внучатого племянника Гоголя.⁵¹ Судьба распорядилась двумя классиками по-своему, породнив их. Но к литературе этот курьез отношения не имеет.

Ранее мы сказали, что у истоков мифа о дружбе двух писателей стоял Белинский, а теперь уточним, что самим источником был, конечно же, Гоголь собственной персоной. Он использовал многочисленные способы для распространения легенд об этой дружбе. Так, воспоминания донесли до нас рассказ Якимы, слуги Гоголя: "Они (т.е. Пушкин. - Ю.Д.) так любили барина. Бывало, снег, дождь, слякоть, а они в своей шинельке бегут сюда. По целым ночам у барина просиживали, слушая, как наш-то читал им свои сочинения, либо читал ему свои стихи". По словам Якимы, Пушкин, заходя к Гоголю и не заставая его, с досадою рылся в его бумагах, горя нетерпением узнать, что тот написал нового. Он с любовью следил за развитием Гоголя и все твердил ему: "пишите, пишите", а от его повестей хохотал, и уходил от Гоголя всегда веселый и в духе".⁵² Оставим рассказ смышленного слуги без комментария.

Каждый писатель сочиняет себе биографию, делая ее более интересной, конфликтной, яркой. Но большинство делает это на основе реалий. Уникальность ситуации в том, что Гоголь сам с начала своей литературной карьеры до ее конца творил не только свои произведения, но и миф о дружбе с величайшим поэтом России, который он поставил во главу своей биографии. Впоследствии это поистине блистательное сочинение приняли за чистую монету исследователи его творчества и даже стали развивать. Миф о дружбе двух титанов литературы стал реальностью литературной истории, но так и не стал исторической реальностью. Больше того, если следовать логике мифа и поверить Гоголю, будто Пушкин подарил ему сюжеты, то тем самым придется признать, что без пушкинских щедрот Гоголь не стал бы автором "Мертвых душ" и "Ревизора".

Возникает любопытный вопрос: как сложилась бы литературная жизнь Гоголя, если б с самого начала он не поставил своей задачей заполучить благословение Пушкина, а просто писал? На вопрос этот мы никогда не получим ответа. Но можно предположить, что при странном поведении, провинциальности и неграмотности, в которой его то и дело упрекала критика, Гоголь с его несомненной гениальностью, мнительностью и пародийностью личности долго оставался бы в неизвестности, а возможно, не поспел бы за другими писателями, оказавшись во втором или третьем ряду. Вот почему мы настоятельно рекомендуем молодым писателям сперва найти достойного Мэтра, распустить жизнеспособный миф о дружбе с ним, а уж потом публиковаться под сенью Великого Учителя. Не забудьте только сразу точно выяснить, как зовут его жену.

Примечания:

1. Г.П. Макогоненко. Гоголь и Пушкин. Л., 1985.
2. В.В. Гиппиус. Комментарий. В кн: Гоголь. ПСС. Изд-во АН СССР, 1938-1952, т.Х, с.435.
3. П.И.Бартенев. Рассказы о Пушкине. М., 1925, с.44. Рассказы друга Пушкина П.В. Нащокина одному из основоположников пушкинистики П.И. Бартеневу очень достоверны и точны.

4. В.В. Каллаш. Н.В. Гоголь в его письмах. "Русская мысль", 1909, № 7 и Заметки о Гоголе. "Голос минувшего", 1913, № 19. В. Брюсов. Испепеленный, 1902. Б. Лукьяновский. Пушкин и Гоголь в их личных отношениях. Вопрос о дружбе. В сб. "Беседы", т. I, М., 1915. А. Долинин. Пушкин и Гоголь. К вопросу об их личных отношениях. Пушкинский сборник. 1923.
5. D.C. Mirsky. A History of Russian Literature. 1958, p.150. (Здесь и далее перевод с английского наш. - Ю.Д.).
6. Н.Л. Степанов. Предисловие. В кн: Гоголь. Соб. соч. в шести тт. М., 1952, т.1, с. XXII. Помню лекции моего профессора Степанова в сталинские годы, когда он старался уходить от обязательных политических доктрин, но в публикациях избежать их не мог.
7. В.Г. Белинский. О русской повести и повестях Гоголя. Избранные соч. М., 1948, с.79. Похождения Чичикова, или Мертвые души. Ibid, с.218.
8. В.И. Ленин. Соч. изд.4, т.18, с.286.
9. В.В. Гиппиус. Гоголь. Л., 1924, с.40.
10. В.В. Гиппиус. Комментарий. Гоголь. ПСС, т. X, с.436.
11. Ibid.
12. Абрам Терц (Andrei Siniavsky). В тени Гоголя. OPI, Collins - London, 1975, с.328.
13. Н.Л. Степанов. Предисловие. Гоголь. Соб. соч. в шести тт., т.1, с. LXIV.
14. Б.В. Томашевский. Пушкин. Кн. 2. М.-Л., 1961, с. 442.
15. Г.П. Макогоненко. Гоголь и Пушкин. Л., 1985, с.23.
16. Н. Петрунина, Г. Фридлиндер. Пушкин и Гоголь в 1831-36 гг. В сб.: Пушкин. Исследования и материалы, т. VI. Л., 1969, с.197.
17. И. Золотусский. Портрет "странного" гения. В кн: В.В. Вересаев. Гоголь в жизни. М., 1990, с.13.
18. И. Золотусский. Гоголь. М., 1979, с.88.
19. П.В. Анненков. Материалы для биографии Пушкина. Изд.2. Спб., 1873, с.360.
20. Ibid. Примечания. т.6, с.398.
21. М.А. Цявловский. Хронологическая канва биографии. Пушкин. ПСС. М.-Л., 1931, т.6, с.17.
22. В.И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892, т. I, с.348.
23. V.Nabokov. Nikolai Gogol. The Vail-Ballou Press, N.Y., 1959, p.30.
24. И. Золотусский. "Портрет "странного" гения". В кн: В.В. Вересаев. Гоголь в жизни. М., 1990, с.13.
25. Например, Л.А. Черейский. Пушкин и его окружение. Изд.2. Л., 1988, с.105
26. Пушкин. ПСС, М.-Л., 1931, т.6. Путеводитель, с.99.

27. Н.Л. Степанов. Предисловие. Гоголь. Соб.соч. в шести тт. т.1, с.XIX.
28. М.А.Цявловский. Хронологическая канва биографии. Пушкин. ПСС, М.-Л., 1931, т.6, с.21.
29. В.И. Шенрок. Материалы для биографии Гоголя. М., 1892, т.I, с.372.
30. Коллективный комментарий сотрудников ИРЛИ (Пушкинского дома). В кн: Пушкин в воспоминаниях современников. М., 1985, т.2, с.498.
31. А.Слонимский. Примечания. Гоголь. Соб. соч. в шести тт., т.5 с.437. То же см. например, Н.Н.Петрунина. Примечания. Пушкин. Письма последних лет. Л., 1969, с.386.
32. Л.А. Черейский. Пушкин и его окружение, Л., 1988, с.105.
33. V.Nabokov. Nikolai Gogol. The Vail-Ballou Press, N.Y. 1959, p.31.
34. М.Б. Храпченко. "Мертвые души" Н.В. Гоголя. М., 1952, с. 22.
35. См. например: М.А.Цявловский. Хронологическая канва биографии. Пушкин. ПСС. М.-Л., 1931, т.6, с.21.
36. Ю.Г. Оксман. Путеводитель. Пушкин. ПСС, М.-Л., 1931, т.6, с.99.
37. Ibid, с.99; Б.В.Томашевский. В кн: Пушкин. ПСС, Л., 1977-1979, т.VI, с.552.
38. В.В. Гиппиус. Комментарий. Гоголь. ПСС, т.X, с.436.
39. Г.П. Макагоненко. Гоголь и Пушкин. Л., 1985. с.33.
40. И. Золотусский. Гоголь. М., 1979, с.185.
41. И.И. Панаев. Литературные воспоминания. М.-Л., 1950, с.65.
42. Абрам Терц (Andrei Siniavsky). В тени Гоголя. Collins - London, 1975, с.335.
43. Ю.Г. Оксман. Путеводитель. Пушкин. ПСС, М.-Л., 1931, т.6, с.99.
44. Ibid, с.100.
45. V.Nabokov. Nikolai Gogol. The Vail-Ballou Press, N.Y. 1959, p.59.
46. Письмо от 19 января 1836 г. Остафьевский Архив князей Вяземских. Спб., 1899, т.III, с.285.
47. Об этом пишет, например, А. Дубовиков. Примечания. Гоголь. Соб. соч. в шести тт., т.6, с.395.
48. Б.И. Бурсов. Судьба Пушкина. Л., 1986 с.126.
49. Л.А. Черейский. Пушкин и его окружение. Изд.2. Л., 1988. с.105.
50. Ibid, с.8.
51. Свидетельство о венчании имеется в ИРЛИ (Пушкинском доме). См. об этом: С. Краюхин. Родственница Пушкина и Гоголя. "Неделя", М., 1984, № 22.
52. Г.П. Данилевский. Знакомство с Гоголем. Соб. соч. Изд. 9-е, Спб., 1902, т.XIII, с.121.



Булат Окуджава

НЕСКОЛЬКО СЦЕН ИЗ ПРОВИНЦИАЛЬНОЙ ПЬЕСЫ

Как-то получилось так, что прозой мы с Владимиром Максимовым занялись одновременно, не сговариваясь. Видимо, что-то носилось в воздухе. Это был шестидесятый год. Я написал военную повесть о себе самом, он – повесть «Мы обживаем землю» тоже на автобиографическом материале. Хотелось высказаться. Затем наши вещи очутились рядом в сборнике «Тарусские страницы», в многострадальном сборнике под редакцией К. Паустовского. Старик нас заметил и обогрел. Затем начались всяческие нападки устно и в прессе. Особенно почему-то доставалось мне и Максиму. Из семидесятипятидесяти тысяч тиража успели отпечатать тридцать тысяч, и они были распроданы в течение двух дней с потоков, не попав в библиотеку и тут же превратившись в библиографическую редкость.

Теперь, по истечении тридцати лет, я многого не помню, но кое-что помню отчетливо. Первое, пронзительное воспоминание. Мы все, авторы сборника, собрались в «Литературной газете». Ликовали. Щупали свежие номера. Это была красивая книжка по тем временам. Вдруг распахнулась дверь, и в комнату вошел литературный критик Григорий Соловьев. Маленький, невзрачный, с бегающими глазками. Он держал в руках наш новенький сборник. Глазки его горели. Он сказал с порога:

– Ну, ребята, вот это да! Это же такая книжка, что

можно, не читая, а только по фамилиям авторов учинить разгром!

Мы оцепенели от неожиданности. Максимов спросил сквозь зубы:

– Это какие же фамилии?

– Цветаева, Мандельштам! – крикнул, ликуя, Соловьев... И прочие...

Мы молчали. Максимов сказал:

– Ну, ты, давай отсюда! – И пошел на критика, и тот выскочил в коридор и побежал, как видно, выстраивая в голове концепцию разгрома, что вскоре, кажется, и осуществил. Критик он был ничтожный, на подхвате, беспринципный и конъюнктурный. В прессе начиналась травля. В связи со скандалом вокруг сборника было спущено сверху распоряжение снять редактора сборника Романа Левиту за проявленную политическую близорукость. Мы, авторы, решили за него заступиться (терять уже было нечего) и написали резкое письмо М. Сулову с требованием нас принять. Но Сулов встретиться с нами не пожелал, а поручил это крупному партийному чиновнику Романову. Нас вызвали. Мы явились. Мы сидели в небольшом кабинете перед самим Романовым и ждали, что он скажет.

В глазах его была тоска и недоумение. Он спросил:

– Отчего же вы прямо не пошли с вашими рукописями, ну, скажем, – в «Новый мир»?

Все молчали. Максимов ответил очень дружелюбно:

– Мы ходили. Там не захотели печатать.

– Ну, в «Знамя» снесли бы, – вяло посоветовал Романов.

– Были и в «Знамени», – сказал Максимов.

– Зачем это нужно было – какое-то сомнительное издание? – спросил Романов, глядя мимо нас – Можно было бы в «Новый мир», например...

– Были в «Новом мире», – сказал Максимов.

Мы молчали. Говорить было нечего. Мне, помнится, было почему-то даже смешно. Нервное, видимо. У Володи ходили желваки. Он накалялся.

– А чего же в «Знамя» не понесли? – спросил Романов.

– В «Знамени» тоже были, – ответил Максимов яростным шепотом.

Кто-то из нас, сейчас не помню, кто, сказал:

– Нас, собственно, беспокоит судьба редактора сборника. За что его уволили?

Романов помолчал, потом сказал:

– Можно было бы и в другие журналы. Вон их у нас сколько.

– Носили, – сказал Максимов.

– А в «Новый мир»? – спросил Романов.

Он смотрел в сторону. На лице его было страдание.

– Носили, – прошипел Максимов.

– Ну, в «Знамя», – автоматически посоветовал Романов, – пошли бы в «Знамя»...

Оставалось поблагодарить за беседу. Прощаясь, Романов облегченно вздыхал.

Это мне хорошо запомнилось.

За что же нас поносила критика? Я семнадцати лет попал на фронт, был солдатом и впечатления городского юноши, попавшего на бойню, постарался описать с возможной достоверностью. Мой герой не хотел умирать. Меня обвинили в антигероизме. Я вспоминал себя жалким и маленьким на громадном поле сражения, с тонкой шейкой и в обмотках. Меня обвинили в пацифизме и клевете на советскую армию. Мой герой влюбился в связистку. Меня обвинили в мещанском слюнтяйстве... Сейчас и не объяснить претензий критики тех лет, настолько это выглядело нелепо.

Володя Максимов был беспризорником, рабочим на Дальнем Севере, провинциальным журналистом. Он написал правдивую жесткую повесть о пережитом, не приспособившись, не потакая официальному елею. Его обвинили в очернительстве и грязекопании. Как объяснить дотошным современным молодым людям, зрелость которых совпала с перестройкой, гласностью, как объяснить им, в чем была наша вина? Я уж не говорю о наивных иностранцах, у которых в голове не укладывались и раньше, да и теперь не укладываются эти проблемы. Бывало, меня спрашивал такой вибрирующий доброжелательный западный персонаж, мол, что вызвало гнев властей? Что им не нравится в, например, Максимове? Я говорил, что желание быть независимым, самостоятельно мыслить, говорить, что думает...

– Да? И что же?..

– А это властям не нравится.

– Почему?

– Ну, они хотят, чтобы все думали, как они...

– Но это же несерьезно!

– Может быть, но его не печатают.

– Пусть он обратится в суд.

– А большой начальник позвонит судье, и судья сделает, как он пожелает.

– Тогда надо выгнать этого судью! – кричит возбужденный персонаж. – Надо встать с плакатом около входа в суд.

– А вас арестуют за хулиганство или за клевету на советский суд.

Он смотрит на меня, как на идиота, потому что я его не понимаю.

– Так пусть он обратится в прессу!

Теперь я смотрю на него, как на идиота, потому что он меня не понимает.

– А большой начальник рассердится, наконец, и протестанта посадят в сумасшедший дом.

Так я портил настроение многим. Понадобились долгие годы, чтобы некоторые из них постепенно кое-что начали понимать.

Так вот, в те годы мы не особенно задумывались над вопросом, в чем наша вина. Это само собой разумелось. Были мы и была официальная культура, чуждая нам и неприемлемая. Нет, мы не были революционерами и ниспровергателями. Мы просто хотели жить чуть-чуть раскованней и свободней. Но с тех пор как многих, в том числе и Максимова, словно из тюбика, выдавили из страны, мы начали задумываться всерьез.

Конечно, проза Максимова шла вразрез с общепринятым. Она была жесткая и горькая и не склонная к компромиссам. И по тем временам она была неприемлема и казалась взрывоопасной. Но шум вокруг «Тарусских страниц» пробудил интерес к имени, и о Максимове заговорили.

Володя жил в Сокольниках на улице Савушкина в старом доме дореволюционной постройки. Нужно было пройти через захлащенный дворик, шагнуть в темный подъезд, пропахший кошками и старостью, и тут же в полуподвальном этаже, в коммунальной квартире, в небольшой мрачной комнатке с сырыми разводами по стенам проживали

три человека: сам автор «Тарусских страниц», его тетка, заменившая ему мать, которая вырастила его и звалась мамой, и младшая сестренка Катя. В квартире было множество соседей, с кухни доносились ароматы убогой еды, из разбитого облезлого клозета – журчание неостановимой воды, и на всем лежала серая тень прожитого, тухнувшего, дряхлого, многократно проклятого человечьего общежития. Помню, я был склонен мириться с этим, не замечать, пожимать плечами. Он же неистовствовал и не принимал этого, как свинства, как несправедливости и преступного пренебрежения человеком.

Из этой своей сокольнической клоаки он приходил ежедневно в «Литературную газету», где я тогда работал, садился за мой стол к телефону и начинал звонить по различным учреждениям, пристраивал начинающих литераторов, заступаясь за отверженных, вымаливая кому-то какие-то маленькие блага, яростно споря или расточая елей в зависимости от того, кто там сидел на другом конце провода, лишь бы выпросить, вымолить для «хорошего человека» толику тепла, расположения и удачи.

Иногда он исчезал на неделю, на две. Я знал: он запил. С ним это случалось. Особенно, когда ожесточение достигало предела, скапливалось, скапливалось, и тут начиналось. Он пил втемную, жестоко, но не на людях, всегда забившись в свой угол, предварительно запасшись достаточным количеством водки. Пил и замертво сваливался на свой матрасик в углу. Просыпался, пил и снова погружался в беспамятство. Он в те дни существовал, с какой-то непонятной деликатностью стараясь никого не задеть, не обидеть, не показаться навязчивым. В нем не было купеческой разухабистости, тщеславного куража, а только болезнь и страдание. И удрученные тетка и Катя ютились в своем углу, не умея помочь, не зная средств спасения. И это до той поры, пока однажды он не приходил в себя. Заросший, изможденный, виноватый, он был тих, послушен, великодушен и переполнен раскаянием. И вот, наконец, руки начинали слушаться, он тщательно брился, по возможности наводил нехитрый московский лоск: непременно отутюженные брюки, непременно галстук; и снова – мой телефон и борьба за чьи-то неизвестные судьбы; и снова друзья и московские кухни, споры о политике и литературе, и

водка, и некоторая снедь, и все навеселе, и только он один выбритый до синевы, респектабельный, со стаканом минеральной воды в твердой руке.

Пусть вас не удивляет прошедшее время, в котором я пишу, это многозначительное «было». Просто иные времена, до его отъезда, когда-то, на другой планете.

Пусть вас не коробит его пристрастие к вину. Он ведь не был банальным пьянчужкой. Это была болезнь, трагедия. Да это ведь и не мерило человеческого достоинства. Трезвенники ведь тоже зачастую не сахар. Так что умерим наши ханжеские страсти.

Его упрекали в жестокости, бескомпромиссности, в неприятии иных мнений, кроме его. Мне приходилось видеть бешенство в его глазах и искаженное ненавистью лицо. Было, было, все было. Я ему говорил:

– Ты протестуешь против подавления инакомыслия, а сам не терпишь инакомыслия...

Губы у него белели обычно, но он сдерживался и почти шипел:

– Но ведь есть же какая-то объективная истина! Ну что ж они так-то?..

Я с ним никогда не спорил. Не потому, что жалел его или себя, нет. Просто я всегда был против словесных поединков. Зачем они? Чтобы установить истину? Да разве это нам по силам? У каждого собственная убежденность, свой взгляд на мир, на события. Это результат личного опыта. Как можно навязать свой опыт другому? Благо, если спорщики хорошо воспитаны, но это большая редкость, это возможно в основном лишь теоретически. Мы ведь дикие люди с огнем в крови. Только Время способно опровергнуть заблуждение, только Время, а не наши слова, не наша страстность... И поэтому я против словесных поединков. Кроме того, сознание собственной правоты рождает самодовольство. Зачем все это? В конце концов, если мне пытаются навязать точку зрения, которая кажется мне отвратительной и мерзкой, я отвернусь от этого человека, порву с ним. Но зачем спорить? А если это хороший человек и просто у него иное мнение по какому-то вопросу, которое в моих глазах не выглядит ни предосудительным, ни преступным, а просто иным, не похожим на мое, – зачем спо-

ритель? Разве это расхождение может помешать нам быть вместе?

...И я обрывал спор, и он это понимал. Он относился ко мне весьма возвышенно, и я старался этим не злоупотреблять. Хотя, что и говорить, спорщик он был отчаянный и непримиримый, и иногда в нем просыпался бывший беспризорник, и он говорил с неистовым придыханием:

– Ну что же эта сука не понимает элементарных вещей? Вот падла!

То, что происходит у нас сегодня, обсуждалось на московских кухнях с ожесточением уже в те годы, особенно в те годы, когда многое открылось, но не до конца, а едва-едва: и то, что партия «наш рулевой» завела нас в тупик, и ей необходима в первую очередь коренная реконструкция, и то, что общество деградировало, и новый советский человек, о котором столько трубили, – вот он, готовенький, тепленький, потерявший человеческий облик от страха, от крови, от насилия, от вранья, ведущий двойную и тройную жизнь, отученный от радости труда, от чувства профессиональной гордости, и то, что совершили громадное количество преступлений, но разгрести авгиевы конюшни по прежнему считалось предосудительным. Да, было ожесточение от безвыходности. Вспыхнувший было костер надежды угасал, его гасили целенаправленно и умело. Ну, не расстреливали, конечно: спохватились, но карательная статистика была все та же – и ложь, и демагогия, и натравливание одних на других, и строй на строй, и бедных на богатых, и безмозглых на мыслящих, и прохиндеев на сомневающихся... По заводам разбрелись идеологические функционеры, которые говорили рабочим приблизительно следующее. «Вот вы здесь вкалываете, приносите пользу государству, трудно живете, а интеллигенты всякие, писатели, академики с жиру бесятся и заигрывают с Западом, и клеветают на нашу родину!» Так, наш писательский оргсекретарь, бывший генерал госбезопасности Ильин приглашал группу писателей и информировал их мрачным тоном, что, мол, выяснились обстоятельства, при которых писатель Н. занимался предосудительной клеветнической деятельностью.

– В чем она проявлялась? – спрашивали мы.

– Клевета на наш общественный строй.

– А нельзя ли почитать, что он там такое понаписал? – лукавили мы.

– Нет, нельзя, – и кивок к потолку.

– А как же установить, в чем клевета?

– Вы мне что, не верите? – делая страшные глаза, спрашивал Ильин.

Все опускали взор. Мы не верили, мы уже читали сочинение Н. Там было немножко правды, немножко боли, немножко отчаяния. Мы молча расходились, приняв информацию к сведению. Бывало, кто-то, не выдержав, поднимал голос в защиту, нет, даже не в защиту, а просто выражал сомнение, и этого было достаточно, чтобы его прорабатывали, обсуждали, даже грозили, даже наказывали. Большинство же молчало.

Однако древоточец делал свое дело. Он медленно разъедал умирающую систему. Она была еще сильна, даже самодовольна, но содрогание ощущалось. То Дудинцев, то Пастернак, то Солженицын, то самиздатские листки, то острая фраза на публичном выступлении, то отчаянный молодой поэт, успевший выкрикнуть на бульваре четверостишие, то темные слухи о психушках, то суд над Синявским и Даниэлем, то внезапное разоблачение уважаемого критика, оказавшегося в прошлом провокатором и доносчиком... Скучать не приходилось.

Конечно, времена переменялись. Уже невозможно было перестрелять, выходили из лагерей и тюрем оставшиеся в живых страдальцы, мировая общественность бурлила, и этого нельзя было скрыть, и все больше и больше появлялось смелых и неукротимых людей. Шла цепная реакция. Перевоспитывать людей было хлопотно да и поздно, да и неизвестно какими способами. Оставалось одно: заставить их молчать. То есть пусть они говорят на своих кухнях, но не выкрикивают публично, пусть они пишут в свои столы, но не раздают для чтения. Пусть не рыпаются. И уж, конечно, никаких связей с Западом – сор из избы не выносят.

И вот я вспоминаю, как в один прекрасный день в маленькой моей комнатке на пятом этаже в «Литературной газете» появился очередной посетитель. Ему было под пятьдесят. Невысокий, крепкий, рыжеватый. Маленькие острые глазки, бежевое пальто, лицо простоватое. Вкрадчи-

вый и тихоголосый. Графоманы тогда ходили ко мне толпой, один за другим, и я пригласил его присесть к столу, и мне было смешно видеть, как он тщательно закрыл за собой дверь и повозился даже, чтобы французский замок щелкнул. Затем уселся передо мной и протянул мне красную книжечку. Фамилия его была Бардин. Уже не помню, то ли полковник, то ли генерал госбезопасности. Там, у себя, он руководил культурой. И он спросил:

– Как поживаете?

– Спасибо, – сказал я нервно, понимая, что его интересует не это.

Я лихорадочно припоминал все предосудительное, что мне довелось совершить, а он сказал:

– Я, собственно, вот о чем. Вот у вас тихий кабинетик с телефоном, и вы часто выходите по разным делам, это ведь редакция, здесь нужно бегать, не правда ли? – И помолчал.

– Ну, там, к редактору вызвали, или в отдел, или, скажем, в буфет захотелось, не так ли? – и снова замолчал.

– Редакция, – вяло улыбнулся я, – не без этого.

– Вот, вот, – подхватил он, – я ведь о чем... Вот вы выбежали, оставили дверь открытой, а некто вошел и воспользовался вашим телефоном...

– В смысле позвонил? – не понял я. – И что же?

– А вот то же, – усмехнулся генерал, – заскочил и сделал звоночек.

Таинственность начала меня раздражать. Мне даже показалось, что он шутит. Однако лицо его было серьезно. В маленьких глазках витал тревожный огонек.

– Снял вашу трубку и позвонил, – сказал Бардин.

– И пусть звонит, отмахнулся я.

– Э-э-э, все не так просто, как вы это себе представляете, – и замолчал. Так мы долго сидели, уставившись друг в друга. Затем он сказал шепотом: Он ведь может позвонить в какое-нибудь посольство...

– А мне что? – сказал я. – В какое посольство?

– А в любое, – сказал генерал едва слышно. – Он, представляете, позвонил, передал информацию, ну, преступную, разумеется, а мы засеки ваш телефон...

– Молодцы, – сказал я.

– ...и тут начинается выяснение, то да сё, понимаете? Телефон-то ваш, а мы засеки...

– А это что, случается? – спросил я.

– Еще бы, – сказал он серьезно, не случалось бы, я бы вас не предупреждал. Мы о вас хорошего мнения, а тут вдруг такое, понимаете?

Я обалдело кивнул. И все-таки даже в ту минуту мне казалось, что генерал чего-то не договаривает. Но он встал, как-то боком сползши со стула, и протянул мне руку. Мы попрощались. Он направился к двери, открыл ее, вышел, прикрыл за собой и вдруг вновь возник на пороге, и снова вошел, и аккуратно закрыл дверь до щелчка, снова уселся на тот же стул и сказал:

Да, кстати, я вот что хотел спросить: вы знакомы с Максимовым? – и уставился, не мигая.

Я вспомнил почему-то сразу Марка Максимова.

– Марк?

– Да, – сказал он, встрепенувшись, – что он?

– Ничего, – сказал я, – поэт.

– Ага, – произнес он многозначительно, – поэт... – А потом помолчав: – Ну, а Владимир? Вы его знаете?

Тут я, наконец, все понял.

– Да, он мой друг, – сказал я, – талантливый писатель.

– Вот Вот, – обрадовался он, именно. Очень талантливей. И вы дружите?.. Это замечательно.

Все стало на свои места. Марк был ни при чем. Я даже намеревался сказать ему, мол, бросьте свои уловки, говорите прямо... Но не сказал. И тут он выложил главное.

– Понимаете, – сказал он, – мы обязаны предупреждать всякие печальные события. А ваш друг поступает необдуманно, – и опять умолк и сверлил меня, но я выдержал. – Он, знаете, решил свое произведение передать на Запад. Через одну дамочку, западную дамочку, естественно. Такая, знаете, суетливая особа. И ваш друг соблазнился.

– Не знаю, – сказал я, холодея, – мне ничего не известно.

– Ну, это понятно, – усмехнулся он, – вам ничего не известно. Но мы хотим, чтобы вы его отговорили. Ну, что ему эта дамочка? Темная дамочка, а он талант. Ну, зачем обострять? Вы ему скажите по-дружески...

– Но его не печатают здесь, отказываются категорически вот уже много лет.

– Это почему же? – спросил генерал с наивностью пионера. – Он что, контрреволюцию разводит?

– Да какую контрреволюцию? – сказал я. – Ну, может быть, жестко, зато честно. Все говорят талант, талант, а не печатают, и он ходит в рваном пальто, живет черт знает где... талант, талант...

– Выпивает?

– А кто не выпивает?

– Ну да, это верно. Есенин вон тоже бывало... Так вы его предупредите, пожалуйста... Обострять-то не следует.

Я пообещал. Он исчез. И тут появился Володя, как в пьесе.

Я рассказал ему о генерале. Он молча слушал, перебирал губами, смотрел в пол. Я видел его профиль. Это был самый несчастный профиль из виденных мною. Мы долго молчали, потом он сказал:

– Он был у меня...

Я ахнул.

– Ей-богу, – сказал он, кривясь, потом неожиданно рассмеялся, и я с абсолютной ясностью увидел генерала Бардина, протиснувшегося в сокольническую клоаку. Ни тетки, ни Кати дома не было. Володя выходил из своего очередного двухнедельного транса. Генерал аккуратненько постучал в дверь и затем приоткрыл ее. В полутемной комнате на полу, под клетчатым теткинским платком лежал, скрючившись, Максимов. Генерал вошел.

– Здравствуйте, Владимир Емельяныч.

– Ну, – сказал тоненьким голоском Володя, – кого еще Бог прислал?

Генерал представился, но это не произвело на хозяина впечатления

– Что скажете хорошего?

– Как поживаете, Владимир Емельяныч?

Максимов выпростал небритое лицо, потряс край платка и заявил все также тоненько, с хрипотцой:

– А вот так. Как мексиканский безработный... Вот так и живу!

Генерал, видимо, понял, что разговор о злополучной рукописи в такой ситуации бесполезен. Может быть, это была тактика, а может, он был ошарашен представившимся зрелищем, а может быть, был хорошо воспитан – не берусь судить. Они немножко поговорили о том, о сем, о житейском, о творческих процессах...

Генерал со скорбью наблюдал, как Максимов поднялся со своего матрасика, покачиваясь, дотянулся до выключателя. Загорелась лампочка на потолке. Безжалостно озарила это странное рандеву.

– Да вы не беспокойтесь, Владимир Емельяныч, – пробубнил генерал.

– А я, представьте, и не беспокоюсь, – сказал Володя, неуклюже натягивая брюки.

– Поразительно, – сказал Бардин, – как Союз писателей безучастен к нуждам своих членов! Что ж это они так?

– А это вы у них спросите, – сказал Володя.

– Да спросить-то мы можем – усмехнулся Бардин, – а толк-то? Они ведь нам не подотчетны...

– Ой ли? – скривился Максимов.

– Честное слово, – сказал генерал и приятно улыбнулся.

...И вот генералы, видимо, как-то там сговорились, и Союз писателей предоставил Максиму однокомнатную квартирку на окраине Москвы у черта на куличиках, в пятиэтажном блочном бараке. Мы поехали туда, Максимов был доволен, но сдержан. Он похаживал из комнатки в кухню, до всего дотрагивался, все по-хозяйски ощупывал.

– Говно, конечно, – сказал, посмеиваясь, – но свое, приятно.

И начал обставляться. Я купил ему с новосельем дешевый пластмассовый абжурчик и сам же его приспособил в комнате.

– Ну, как? – спросил я, слезая со стула.

Он включил лампочку, поглядел и сказал, крайне деликатно оценивая мой труд:

– Ну что ж, вполне. – Однако ликования не было.

Я приехал к нему на следующий день. Абжурчик висел в кухне, а в комнате посверкивала люстра. Я смолчал, и он смолчал. Он был в бордовом махровом халате и в новых шлепанцах. Уже появился диван. На этом диване мы сфотографировались перед его отъездом в Париж. Я, он, Юлий Даниэль.

В общем, жизнь продолжалась. Пока там то да сё, Володя грыз гранит науки, что представлялось мне тогда несколько загадочным. Впрочем, я и сейчас не совсем отчетливо себе представляю, как он, получивший в свое время

убогое четырехклассное образование, живущий черт знает где и черт знает как, погруженный не в покойное кресло философа, а в тяжкий быт и наши умопомрачительные будни, как он умудрялся учиться, обогащать себя знаниями настолько, что и самые записные умники, бывало, считали для себя честью вести с ним глубокомысленные беседы. Он много читал, читал жадно, осмысленно, въедливо, возбужденно. Познание доставляло ему наслаждение. Память была превосходная, но это же ведь подспорье. Главное заключалось в способности осмысливать мировую культуру по самому большому счету и, осмысливая, постоянно пребывать в состоянии лихорадочной полемики с авторами, не потакая без надобности, не унижая незаслуженно. Этот бывший беспризорник, не страдающий тщеславием, но по-человечески честолюбивый, страстно жаждал быть интеллигентом и, уж будьте уверены, мог легко отличить подлинного интеллигента от ничтожной претенциозной и массовой нашей образованщины.

Были ли у него недостатки? О, их было множество. Они огорчали одних, возмущали других, а некоторых доводили до неистовства. Но об этом как-нибудь в другой раз, если, конечно, так уж необходимо. А нынче я о достоинствах. Ведь были и они...

Был, было, были... Это в той жизни, московской, до той поры, пока его не выдавили из отечества, не лишили гражданства, оставив за собой право бездарно и самодовольно полемизировать с его часто справедливыми претензиями к нашему строю.

Времена меняются. Мы учимся милосердию, хотя он в нем не нуждается. Ежедневно, перелистывая газеты, я все время жду, когда же наконец удастся мне прочитать официальное обращение к нему, деятелю нашей культуры, начавшему свой путь от «Тарусских страниц».

«Глубокоуважаемый Владимир Емельянович!

Считаем своим долгом известить Вас, что Верховный Совет СССР объявляет акцию по лишению Вас гражданства преступлением против личности и, торжественно возвращая Вам гражданские права, надеется, что Вы, преодолев в своем сердце горькую несправедливость былых обид и унижений, вновь осознаете себя полноправным членом

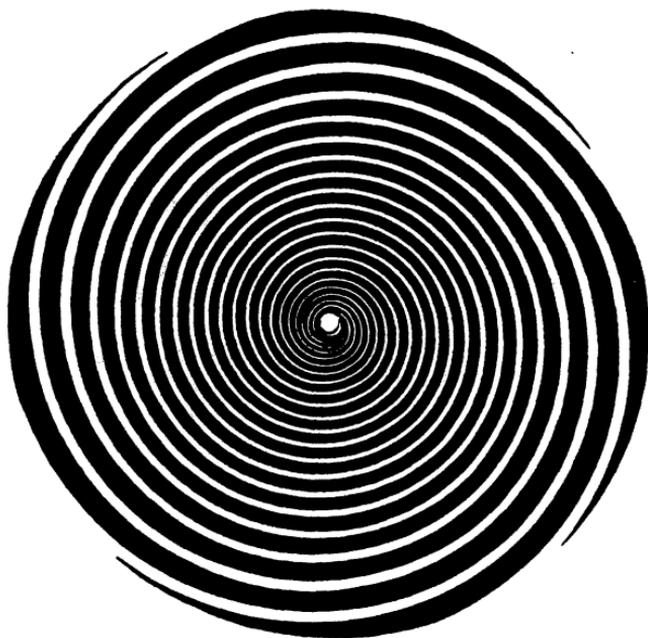
нашего многострадального общества, крайне нуждающегося в Вашем участии».

Вот так.

Впрочем, это в равной степени относится и ко всем остальным.

P. S. Не так давно справедливость восторжествовала. Не так высокопарно, как я придумал, но все-таки. Тут уж не до высокопарностей.

Из журнала «Родина», № 4, 1991.



3. Зиник

ЛИЧНОЕ ДЕЛО ВРАЧЕЙ

Памяти Ю.А. Айхенвальда

Родина отторгла меня: чуть ли не на следующий день после приезда в Москву я слег с тяжелой формой воспаления легких. Плюс плеврит. Сказали: случайная инфекция в воздухе. Плевриты у меня были и не раз, и по опыту я знаю: надо пить антибиотики, стараться не двигаться, выжидая, когда болезни надоест бороться с телом, или телу с болезнью – больше ничего сделать нельзя. Мои друзья и близкие были странно напуганы: не только моим состоянием, но и отношением к заболеванию. Они не хотели поверить, что есть некие пределы и лимиты в фармакологии, лишь один вид лекарства на сегодняшний день и что все остальные лекарства и доктора в общем-то дела не меняют. Они были убеждены, что один врач и одно лекарство не может помочь в принципе, надо непременно заручиться тридцатью тремя альтернативами. Они верили, что есть какой-то другой путь, другое снадобье – от гомеопатического драже и аппликатора Кузнецова, до обмазывания тела медом с распаренным творогом и экстраксов с наложением рук. В этом был какой-то скрытый оптимизм: они были

убеждены, что секрет немедленного выздоровления есть, только нужно его разведать – где-то кто-то знает чудо-исцелителя с магическим зельем за пазухой, и этого доктора можно отыскать с помощью нужных контактов, как в свое время тот магазин, где давали недоступную копченую колбасу.

Это была вера в хитроумие медицины. Российский человек не может смириться с тем фактом, что не от всякого недуга есть на свете лекарство. Иногда нет другого выхода кроме как лечь и умереть. Не следует путать, однако, российскую веру во врачей с дикарской верой в знахарей и шаманов. Во всякой вере в чудеса есть, несомненно, что-то и от шаманства, но российская вера во врачей – утопическая: вера в то, что тело, как и общество, может быть идеальным, бессмертным, – надо лишь постараться. Горький назвал строителей нового советского общества – инженерами человеческих душ. Так вот: врачи – инженеры человеческих тел.

Я как раз перед поездкой в Москву читал записи 50-х годов одной московской дамы и был поражен, какое огромное количество лекарств она, судя по всему, вполне здоровая женщина, потребляла ежедневно: димедрол, бензодрин, валидол, успокоительные и, главное, разные варианты снотворного – в России их до сих пор можно, как я понимаю, получать в аптеке без рецепта. Народу необходимо что-то такое успокоительно-снотворное, как в черной утопии Олдоса Хаксли – «сома» для пролов. Связь снотворного с идеей золотого сна человечества несомненна. Тело в этом золотом сне – бессмертно. Ленин мертв, но тело его живет. Поэтому столь ответственна была роль врача – телоинженера в этом великом утопическом задании, и конечно же пресловутое дело врачей могло иметь место лишь в сталинской России: больше нигде так серьезно к врачам не относятся. И, как я понял, статус врача в этом смысле не изменился.

Мой английский опыт говорит мне, что болезнь – дело интимное. Ее скрывают от посторонних, во всяком случае – о болезни не трезвонят на каждом углу. В России болезнь близкого человека – дело общественное. Пол Москвы было поднято на ноги. Телефон трезвонил каждую минуту. У окна, молча, со скорбным прищуром, взирали на меня как

на труп – жертву русской истории – грустные радители. Каждая новая медицинская идея (а идеи возникали с каждым звонком в дверь) вызывала вспышку антагонизма среди присутствующих. Те, кто проповедовал, скажем, гомеопатию (жидомасоны, по мнению тех, кто отстаивал «апликатор Кузнецова»), сравнивал тех, кто рекомендовал припарки из творога, с фашиствующими элементами в обществе, и можете себе представить, какие чувства вызывали сторонники пиявок у тех западников, кто советовал держаться заграничных антибиотиков. Количество спорящих голосов на кухне прибавлялось; как, впрочем, и звона стаканов. Меня, слава богу, хотя бы на время забывали. Став частью общественного, государственного дела, одна, отдельно взятая болезнь, конкретное земное человеческое тело, теряли самостоятельное значение. Это – лишь повод для большого разговора, для больших свершений; это промежуточный этап, материал для строительства вечного бессмертного идеального тела. Отсюда такое презрение в ежедневной жизни ко всему телесному, к человеческому низу, как к чему-то позорно несовершенному – вечная российская стыдливость к телесным отправлениям, сексу; делание вида, что всего этого не существует, или – как диссидентская реакция на подобное игнорирование телесного низа идеалистами бессмертного тела – выпячивание этого низа, во всем его срамном величии, пока верхи продолжают рассуждать о высоком.

Лишь болезнь примиряет нас с собственным телом, – таким, какое оно есть, а не таким, каким нам хотелось бы его видеть и ощущать. Болезнь возвращает нас к изначальным элементам нашей природы – и освобождает от идеологической ловушки, куда загоняет нас голый интеллект своими рассуждениями о высоком и низком, о душевном и телесном, о родине и о эмиграции. Болезнь возвращает нас к самим себе: меня, скажем, родившегося и выросшего в Москве, – обратно в Англию.



Мне сообщили о смерти поэта Юрия Александровича Айхенвальда в конце июня, когда я уже выздоравливал в Лондоне. Это извещение о смерти старшего друга в Москве

прозвучало как московская, гипотетическая страшная концовка моей собственной болезни, когда мне казалось, что я больше не вырвусь из этой заколдованной российской метафизики. Я-таки исхитрился благополучно приземлиться в Лондоне. Он остался в Москве, продолжая мучиться от глаукомы и надеясь на экстрасенсов.

Подробности своей борьбы с глаукомой он рассказал мне по телефону, когда справлялся о моем здоровье еще в Москве. Долгие годы его врачевал старый крупнейший спец по глаукоме, который раз за разом, год за годом, откладывал операцию, говорил, что пока в этом нет необходимости, и когда наступит необходимость, он тут же сообщит об этом Айхенвальду. В один прекрасный день доктор умер, так и не успев сообщить Айхенвальду, наступила ли необходимость в операции или еще нет. (Айхенвальдовский хохоток в трубке: «Это как хрущевское обещание коммунистического будущего очередному поколению советских людей».) Тогда за глаукому обещал взяться экстрасенс наложением рук, но с какой-то другой стороны взялся, потому что сначала накладывал руки на его больное сердце, а тем временем победила глаукома.

Все это весело, путанно и увлеченно излагалось Айхенвальдом в телефонную трубку в ответ на мою гипотезу о врачах – инженерах человеческих тел, которые лучше нас, смертных, знают, от чего нас надо лечить. Мы оба согласились с авторитетным мнением моего двоюродного кузена Глезерова, что при такой тоталитарной системе врачевания поиски своего магического средства от недуга нужно интерпретировать как традиционно русские поиски внутренней свободы.

Глаукома, как известно, ведет к слепоте. Слепота, как известно, это чуть ли не обязательный атрибут пророческого дара, внутренней прозорливости: и царь Эдип и король Лир обретают свет и мудрость, лишь ослепнув. По иронии судьбы, первый с кем я обсуждал фатальную глаукому Айхенвальда в Лондоне был искусствовед Игорь Наумович Голомшток, который готовился к операции катаракты. Искусствовед, страдающий катарактой, вспоминал, как воинственно был настроен поэт, страдающий глаукомой, против его, Голомштока, эмиграции из России в эпоху массового отъезда семидесятых годов. По словам Голо-

мштока, «Айхенвальд слишком отождествлял себя с временем и местом», как будто он жил ощущением того, что его отсутствие приведет к катастрофе. Но скончался Юрий Александрович не от глаукомы и не от сердца (глотал все время нитроглицерин), а от кровоизлияния в мозг. Он скончался от повышенного давления.

Он был одним из тех, кто считал, что весь мир держится на его плечах. Или что ось проходит сквозь него, и если он перестанет крутиться, жизнь на земном шаре полетит к чертовой бабушке. В этом и заключалась для Айхенвальда суть российского интеллигента: он – тот, кто считает себя за все на свете ответственным, готовым – по-христиански? – принять на себя вину за все несправедливости, которые он мог бы, как ему кажется, предотвратить. Отличается ли это чувство ответственности от мании величия? Не знаю, как смерть (еще никому не удалось обменяться с нами смертельным опытом), но болезнь от этой мании величия (уверенности, что ось земли проходит через твой пупок) избавляет. Ты понимаешь, что твоя озабоченность судьбами мироздания – твое частное дело, что это озабоченность чем-то еще, трудно формулируемым, но сугубо личным. Вполне возможно, это самое сугубо личное, оно – личное не для тебя самого, а для кого-то еще. Исторические дебаты и политические споры на кухне в доме Айхенвальдов стали для меня частью моей личной истории: ведь именно здесь я встретился с теми, кто стал моими духовными наставниками тех лет.

Это было тридцать лет назад.

Место нашей последней встречи оказалось в этом смысле для меня вдвойне символическим – в библиотеке иностранной литературы на вечере памяти Павла Павловича Улитина, многоязычного мастера иронической дневниковой прозы и пародийной речи, учившего, как можно мыслить чужими словами, не изменяя собственным эмоциям. Они познакомились в Бутырках и стали близкими друзьями с эпохи общей камеры в Ленинградской тюремной психбольнице, куда Айхенвальд попал не без посредничества Улитина: тот зашел врачам юношеские стихи Айхенвальда («Век двадцатый в апогее / яростней, чем прежде. Вновь / люди людям за идею продают чужую кровь»), и стихотворение произвело на психиатров такое сильное впечатле-

ние, что Айхенвальда перевели на то самое отделение, где уже находился Улитин. Там, вместе с театральным человеком А.А. (приучившим меня к мысли, что всякая окончательность в формулировке жизненных позиций – вульгарна и ложна, что привело к неминуемой ссоре и из-за моих формулировок жизненной позиции А.А., после чего он запретил мне называть его имя при каких бы то ни было обстоятельствах, как будто жизнь – это сплошной допрос в КГБ), на занятиях трудотерапии в переплетной мастерской больницы они развлекались совместным сочинением поэм и притч в макароническом стиле. Эти дни в переплетной придавали особый смысл выражению «попасть в переплет».

Все это было сорок лет назад.

Идея хоть как-то зафиксировать свои воспоминания об этой эпохе «большого переплета» – этих дней странной дружбы в самом макабрическом из советских тюремных приютов (один из замечательных примеров сталинского метода субсидирования культуры) – пришла Айхенвальду в голову довольно поздно, когда можно было расправить плечи, сбросив часть груза исторической ответственности на других, и оглянуться на себя в зеркале собственного прошлого. Таким зеркалом может оказаться третий лишний собеседник, случайным словом высвечивающий затертое временем значение наших отношений с заклтым другом и закадычным врагом. Много лет назад, подслушав мои подражательно-пародийные (в духе Улитина) пересказы анекдотичных склок с А.А., Айхенвальд потер щетину у себя на подбородке и задумчиво пробормотал, обращаясь к жене Ваве: «Эй, Вавка, а может этот малец и прав: и все дело – в личных отношениях?» И тут же забыл об этом. Айхенвальд чуть ли не сознательно избегал разговора о том, что важнее и интереснее всего лично ему. Он, в каком-то смысле, обращал на самого себя мало внимания. Он, видимо, полагал, что в этом нет ни исторического значения, ни исторической необходимости: важен не он сам, а он в окружении других. Очередной звонок в дверь, очередной гость появляется на кухне, и вновь начинается коллективная расшифровка катастрофических моральных последствий советской идеологии в частной жизни России и в общественной жизни наших частых знакомых. Он мыслил в категориях общего, а тосковал по сугубо личному. Как неловкий и

робкий ухажер, бескорыстный кавалер неуступчивой России, он тратил свой пыл в витиеватой речи, когда надо было целовать прямо в губы: «и то, что не смогли сказать уста, то пулями доскажут пистолеты».

С оптимизмом, аналогичным безраздельной вере в медицину, Айхенвальд относился и к трактовке вечных вопросов российской действительности, вопросов, продиктованных властью, идеологией, ее ежедневной практикой. Он верил, что от всего этого болезненного бреда есть противоядие. Он верил, что это противоядие можно отыскать, обговаривая, высвечивая фальшивый смысл пугающих советских лозунгов, догматов, кодексов. В нем жила вера в то, что можно протащить свою философию, свою мысль, свои эмоции в суровой советской одежке. Переписать, так сказать, советские дилеммы на язык христианских догматов и разрешить их в переводе на этот «человеческий» язык. Можно докопаться до истины, но хитрым путем. Истина, однако, заключалась в самом процессе (для него, с юношеских лет, в огромной степени – судебном), как и смысл болезни – в процессе выздоровления.

С Айхенвальдом из мира ушла для меня целая школа отзывчивой трепотни, ушел не просто человек – а целая квартира, кухня разговоров. Было много сказано в последние годы о московских кухнях-говорильнях, но айхенвальдовская кухня той эпохи была если не прообразом, то, во всяком случае, безупречным, почти окончательным воплощением этой легенды. Эта кухня заменяла и газету и роман, и роман-газету, и даже показательный процесс. Люди менялись: садились в тюрьму, эмигрировали, умирали – менялся состав, но не менялся тип. Это была музей-квартира типажной российской интеллигенции. Казалось бы, во имя этой кухонно-общественной активности он всю жизнь делал и говорил не то, что ему хочется, а то, что требуется (то есть начальством у него была эпоха, время, которое «дано и не подлежит обсуждению; подлежишь обсуждению ты, человек, очутившийся в нем», как писал его друг, поэт Коржавин). Он поразительным образом не уставал от чужих идейных забот. То есть, как говорят в России, он был человеком долга. Общался не с теми, с кем хотел, большую часть жизни проработал (преподавателем литературы и переводчиком) не над тем, о чем мечтал, и даже лечился всю жизнь

не от того, от чего скончался. Все делал не то. И в этом его тайна.

С безоглядностью поэта он, казалось, готов был поверить, что все вокруг движется к чему-то большему и ясному (например, к черту). Ему казалось, все это будет продолжаться бесконечно долго: такая бурная говорильня, и он, в ее центре, алхимик-оптимист, пытающийся раскрыть зловещий секрет, разоблачить демагогию советской власти, ее двузычие и шизофрению – ее же, советскими, демагогически-шизофреническими методами. И когда оковы тяжкие падут, то на обломках напишут и его имя. Вместо этого обломки запестрели совсем другими надписями, главным образом заборными.

Мне говорили, что он ощущал себя последние несколько лет выброшенным из литературной жизни. На вечере памяти Улитина лицо его было одутловатым, как будто зашпанным, он забывал слова во время выступления, пускался в длинноты и путался в логике повествования. Это было ощущение конца. Но подобное ощущение всегда субъективно, потому что конец – это всегда для кого-то еще начало, в первую очередь для тебя самого, изменившегося – только этот конец нужно пережить. В этот раз он не пережил очередного конца, не пережил очередного «себя» – конца эпохи, разочаровавшись в ее оптимизме (не только в советском смысле: вся эта эпоха держалась на ожидании – другого, не предусмотренного доктриной будущего). Он считал, что не дождался признания. На самом деле, он его не заметил. Зачитывая на домашних концертах, среди дружеской толкучки гостей, свои новые стихи – осознал ли он, что это и были годы его московской славы? Нет, он не осознал и не отдавал себе отчета: радость безотчетна. Он был скромнее внутренне, чем даже казалось ему самому.

Цитируя самого Айхенвальда: «Он мыслил там, где можно только верить. Он видел там, где нужно стать слепым». Или наоборот: он не ослеп окончательно из-за глаукомы, он, казалось, перестал замечать все то, за счет чего происходило продолжение разговора у него же на кухне. Отдавал ли он себе отчет в том, что при всем ужасе и маразме тех лет (я сейчас говорю про 70-е годы), всякий, кто попадал в квартиру Айхенвальдов, ощущал себя участником некоего великого спектакля, тем более завораживающего, что бы-

ло в нем нечто смертельно опасное; и при возможной тематической мрачности того, что обсуждалось, само общение было заразительно своей лихорадочностью, и, парадоксально, душевным уютом. Из четырех углов каждой комнаты – двадцать четыре разговора одновременно, и вдоль коридора почетный караул из запоздавших гостей, вытягивающих шеи, чтобы услышать верлибр в гостиной или арию из кухни. Надо было видеть эти сияющие глаза и почти блудливую ухмылку, какой-то детский восторг от кроважанных историй и головокружительных метаморфоз, творящихся с людьми вокруг. Нет никаких сомнений, что весь психологический мажор сталинско-брежневских лет – от его собственной тюремной биографии (его будущий тесть – с женой он познакомился в ссылке – был следователем по делу его отца) до процесса над Петром Якиром (гусар диссидентства, превращенный водкой и гебистами в лакея) – все это завораживало его, как пьеса Шекспирова. А еще больше завораживали разговоры о том, как малые мира сего становятся большими предателями, а кровавые идеи скрепляются скукой и уютом семейного рабства (благополучия). Это были классические дилеммы эпохи: где кончается право на выживание с презрением ко всяческой идеологии и где начинается предательство, то есть смерть другого по причине твоей аполитичности и твоего права на выживание? Где кончаются твои утопические идеи и начинается массовое убийство?

У этой кухонной перипатетики с ее вечными, платоновскими идеологемами и кантовскими категориями был свой Сократ, у этой кухонной метафизики был свой Ницше, призвавший встать над схваткой по ту сторону добра и зла. Для А.А. айхенвальдовская диалектика – почти интимное общение с враждебными тебе идеями – было само по себе анафемой. Попытка отделить истину от лжи в господствующем языке официоза обрекает тебя на вечное с этим языком сожительство. А.А. противопоставлял айхенвальдовской всемирной склоке с советской властью – уход в сверхличное, куда-то между супер-обложкой и переплетом, в условный интимный жест, в неразборчивый и многозначительный хмык, в почтовую открытку, направленную не столько по адресу, сколько как знак и свидетельство существования иной державы, где правят иные силы, где нет

места советским или анти-советским категориям, в которые Айхенвальд пристально всматривался с надеждой – до слепоты. Казалось бы, А.А. проповедовал отчаяние: не на что надеяться, не на кого рассчитывать, некуда идти. Но в этом отчаянии был своего рода «эмигрантский» оптимизм человека, оказавшегося за бугром, за пределом, отказавшегося от всего: ведь отсутствие надежды избавляет и от страха ее потерять. Оптимист же Айхенвальд был постоянно разочарован: другом, партией, страной, Богом.

Все это так. Однако в диалектике почти водевильных словесных перепалок между А.А. и Айхенвальдом (декаденты-эстеты против моралистов-догматиков, грубо говоря) можно было угадать еще один «твист», как говорят англичане, странный поворот. Чем хитроумнее и агрессивнее обменивались собеседники контр-аргументами, тем веселей они становились, и за шутовским перемигиванием и за серьезностью искренней обиды, с закушенной губой и сжатыми кулаками, вырастала идея совсем иного разговора. В этом идеальном разговоре, как в прозе Павла Улитина (стенографировавшего, кстати, именно такого рода анекдотичные схватки, с тем же Айхенвальдом и А.А.), каждый из собеседников провоцирует другого использовать слова противника как свои собственные, говорить про себя как про другого, а про другого как про себя. Собеседнику приписывались собственные промахи, себе же – его заслуги, но не для того, чтобы умалить противника в споре, а чтобы угадать собственную моральную катастрофу и несостоятельность своей идеологии в зеркале чужих слов. И уже трудно было сказать с уверенностью, кто из них дидактик, а кто декадент. При всей видимости внешней конфронтации, оба выступали единым фронтом – против тех, кто пытается подменить личный разговор (из которого и рождается великая литература) идеями-дефинициями, единственный смысл которых – почувствовать моральное превосходство «наших» над «вашими».

Айхенвальд всегда был готов подхватить чужую идею, принять на веру иной взгляд: он всегда отзывался на то, в чем, казалось ему, было страшно важным разобраться – во имя других, никого на свете, при этом, не обидев. Он, видимо, не верил в существование неискоренимого зла: он считал зло досадной ошибкой, которую можно и нужно

исправить – стоит только собраться вместе и серьезно обговорить ситуацию. От этого, может быть, в нем жила скрытая нерешительность: от страха ошибиться в другом, приписать ему несуществующие преступления и злые намерения. В нем была открытость и ранимость поэта, скрывающего от других свою силу. Айхенвальд больше всего на свете боялся совершить, даже гипотетически, моральную или интеллектуальную промашку в ходе своего диалога с властями (диалога, от которого А.А. категорически отказывался: тащите, мол, если хотите в психбольницу). Страх перед возможным промахом в личных отношениях с обществом его как будто парализовал.

Не было ли у Айхенвальда, в его загипнотизированности советским ужасом, все того же поиска общественного словаря для своих личных страхов? Он меньше других говорил о своих, далеко не идеальных, отношениях с близкими друзьями, но он больше других переживал уход и разрыв, каким бы видимым подобный разрыв ни казался. Если его друг, Павел Улитин, избегал прямого разговора о личной жизни через цитаты из интимных разговоров с общими знакомыми, не искал ли Айхенвальд выхода из своих интимных закутков на площадях советской метафизики?

Вполне возможно. Но ведь важно не то, что человек делает, что сублимирует или вытесняет из своего сознания, уходя в несознанку. Мы знаем, что человек не исчерпывается своей позицией, своими мыслями, даже своей душой и своим телом. Всегда остается что-то еще, что-то «не то» – еще и не-своя позиция, не-своя душа и тело. В человеке больше всего того, что он сам способен вместить (осознать). Это «большее» и есть его позиция.

Все на свете - лишь повод для чего-то иного. Айхенвальд все делал не то и говорил не о том. Но именно за это «не то» мы его и ценим. Мы часто забываем содержание разговора, но перед глазами как будто навечно застыла улыбка собеседника в какой-то случайный момент, или, наоборот, нахмуренные брови, жест раздражения или неловкая попытка извиниться перед уходом. От каждой встречи с Айхенвальдом оставалась в памяти не куча наговоренных идей, а этот его жест откидывания нависающей на лоб пряди, когда он добирался до очередного перекрестка в рассуждении, или его резкий хохоток, когда он собирался

высказать что-то резкое вопреки. И пританцовывающее хождение вокруг да около – и собеседника, и темы разговора. В нем при этом жило совершенно неумемное, неостановимое любопытство. Он не мог остановиться, проследивая судьбу какого-нибудь события – выспрашивал, выведывал, почти сплетничал: чтобы высветить, высмотреть – через сопоставление собственного опыта с чужим – еще один гипотетический ход мысли. Живой человек остается живым и после смерти: не застывает в памяти. Все время кажется, что именно с Айхенвальдом было бы интереснее всего сейчас порассуждать о его собственном уходе в мир иной от непредугаданного удара.

Он умер от кровоизлияния в мозг, неожиданно проснувшись под утро от страшной боли, и его последние слова были: «Я проваливаюсь». Вечный вопрос: куда? Как я понял из телефонных пересказов его смерти, Айхенвальду не суждено было надолго слечь в больничную койку, чтобы серьезно «переболеть» своей метафизикой. Болезнь – это горе от ума: когда человек не способен ничего решить, когда каждый шаг воспринимается им как предательство по отношению к себе или к другому. Из такого состояния есть два выхода. Или же замереть, не давая никакого повода для ложных интерпретаций. Или же, наоборот, сделать страшный рывок – через насилие-преступление к ясности. Но бывает так, что именно этот выбор человек сделать не в состоянии. Он взмокает от напряжения, его начинает лихорадить, у него поднимается температура, его кладут в постель, вызывают врача. Он заболевает: от ложных ходов бессмысленного умствования. Болезнь освобождает из этой западни. Ощувив собственные пределы, телесные перегородки, мы начинаем осознавать и собственную неповторимость: то самое «не то» в нас самих.

Болезнь – для идиотов, которые иначе не способны понять, что зашли в тупик, что дальше нельзя продолжать в том же духе.

Я, идиот, переболев, остался жив.

Лондон, 1993



Валерий ЗЕМСКОВ

АРБАТСКИЕ НОЧИ

...слышите, говорит девушка пожилая в телевизоре у вазочки с васильками, вот: пи-пи-пи, кто слышит, кто не слышит, вот такая новинка, ушная трубочка производства советско-израильского сп, пользуется большим спросом в последние дни, и кладет трубочку на столик, а та лежит себе, трубочка как трубочка, а теперь мы приглашаем вас вернуться к главной теме нашей встречи, и что вы думаете, и как вам кажется, и придвигайтесь поближе к телевизору и вот вам чай, генерал, и вам, товарищ академик, и вам тоже генерал, ну и начали они: и выдвинут ряд гипотез, и отрабатывают версии, и возможно ли рассматривать это явление в ряду таких происшествий, как взрывы в метро и на вокзалах, и пробы, взятые с помощью манипуляторов с краев арбатского новообразования не обнаруживают никаких элементов, сходных с теми, что возникают при падении метеоритов, если бы это было так, то вокруг произошел бы такой лесоповал, что не только арбата не осталось бы, но и много другого, так что версия

о новотунгусском пришествии откладывается, и таким образом, можно было бы отклонить и версию о втором полынном напоминании, тем более, что в этом году никаких косматых звезд замечено не было, как в том памятном году нашей перестройки, да и пробы, взятые в нашей иордани, не обнаруживают никакой дополнительной горечи к тому составу, что возник после памятного выброса квази фекалия вульгарис котидианис из центрального городского бассейна,

и тут опять этот вздох раздается, вроде бы из трубочки: вот так, и никак иначе, и что за странности снова, говорит та девушка, и все уставились на трубочку, что она, заводная, с секретом что ли, а эти уже дальше поехали, и будь то даже, простите, уважаемые коллеги, говорит академик в бабочке, даже само напоминание, все равно, подчиняясь законам физики, оно имело бы какие-то приметы, а примет никаких, а мы глядим в телеки и удивляемся, совсем спятил, и когда они там свою физику изучал, а генерал гб перебивает его и кричит, работа идет, состав будет, результаты доложим всенародно, уже можно кое-что рапортовать, обнаружены следы необычного тротила, который не используется со времен отечественной войны 1812 года, а может даже более раннего происхождения, похоже, пороховой состав то ли древне-китайского, то ли ближневосточного происхождения, что дает основание предположить действия каких-то экстремистских сил, стремящихся сорвать консенсус, вот-вот, кричит генерал спецназ и надевает фуражку, от имени нашей дивизии объявляю протест газете куранты и дерьмократам всех уровней, мол, в предутренней тьме было замечено движение спецчастей, и что, мол, в нашем боезапасе не хватает двадцати килограммов тротила и пяти комплектов противотанковых гранат, а наша дивизия в то время, как положено по уставу, лежала в своих

койках и спокойно кемарила, что может быть проверено по вахтенному журналу, и к тому же у нас есть неопровержимые доказательства, и они будут предъявлены, а если и было какое передвижение, то мне доложено не было, я тоже после отбоя спал в койке и телефона не отключал, но терпение наше уже лопается, и сорвался тут спецназ и пошел, пошел, пошел, и сколько можно обижать наших ребят, ведь у них ни пап, ни мам, и дивизия им дом родной, а девушка кричит, причем здесь папы и мамы, но того не остановишь, и не можем спокойно наблюдать распродажу курильских островов – японии, молдавии – румынии, азербайджана – ирану, калиниграда – германии, эстонии – скандинавии, ирака – израилю, и вернуть аляску, и дойти до босфора, а то и до самих святых мест, и слезы вытирает, за державу обидно, и есть еще у нас порох в пороховницах, и рвет на груди тельняшку, и связку гранат хватает за родину – за сталина, как завещали нам суворов и кутузов,

а кино не хотите посмотреть, кричит ему депутат, ну этот, с манежной, не помню, как звать, гдлян что ли, мы вам видик прокрутим, как ваши ребятишки спали в кроватках, подложив кулачки под розовые щечки, посмотрим, и кричит нашему бедолаге: и у тебя, наверное, же опять телефон не работал? или уши заложило, или тоже кемарил, подложив кулачок под розовую щечку? ей богу, раечка, на этот раз спал, – уши? немного скворчит что-то, но ничего, так ты телефон не отключала? кто же его из розетки выдернул, говорит наш горюн, совершенно соснуть невозможно, придешь с работы с головой набрякшей от этих курантов и сводок гб, а ведь врут все, ничего толком не знают, и куда девается настоящая информация, и телек опять врет, посмотри, что за программа время стала, ни на секунду нельзя отключиться, ни покемарить, ни в загранку смотреть, позвони, раечка, в гб, спроси, что нового, готовы ли пленки,

гляди, что она там в телеке лопочет, сейчас будут эту, как ее, ну это новообразование, показывать с арбата, ну-ка сделай картинку поярче, а ветка кричит, колька, коль, давай к ящичку, уже показывают, наша пленка или нет, вроде бы наша, вот куча мусора, вот те две девушки на куче, только что это они такие старенькие стали, вон эти убегают со своими лопатами, вот я снимаю из подворотни, ой, сейчас рванет, нет, коль, пленка не наша, почему минуты проставлены? ой, порвалась пленка что ли? ой, гляди, а теперь ее показывают, была продолговатая, промежуточная такая, а теперь уже почти квадратная, что они там мрамором что ли облицовывают для красоты? а жаныч квадратную промежуточность разглядывает, покраснел даже, от напряженных воспоминаний что ли? смущенно руками разводит: ни одного факта такой геометрической формы нет и в помине, а береславский саркастически шипит: результат фетишизации технического прогресса, а девушка та пожилая в телевизоре говорит: извините за технический брак, раньше времени пленку запустили, вы видите, уважаемые телезрители, состояние новообразования на настоящий момент, сейчас нас подключат к заседанию нашего вече, где идет обсуждение события, мишь, мишь, как слышишь, прием, прием, а кроме того, нам покажут документальные записи: пленка любительская, снятая из подворотни на арбате в день происшествия, пленка от горсовета, съемка от гб и дивизионные показания, хорошо видно, спасибо, мишь, особенно тем, у кого телевизоры отечественных марок,

а генерал гб говорит, что касается этих пленок, любительской и горсовета, то не уверен, что их можно рассматривать как документы, если бы их передали пораньше нам на экспертизу на предмет гласности, тогда было бы надежно, а так мы едва успели посмотреть и потому есть, конечно, недоосто-

верные факты, что же касается нашей пленки, то будьте уверены, все по минутам видно, автокамера снимала с фрамуги второго окна третьего этажа над магазином самоцветы, а девушка говорит, да, пожалуй, эта она или оно, не знаю, как правильно сказать, что вы думаете, товарищ академик? действительно изменяется и приобретает несколько более благопристойный для городской улицы вид что ли, ничего себе благопристойный, раечка, не, ты только взгляни на нее, кто бы подумал, где? на арбате! и что это она мне напоминает, и, глянь, колышется что ли? весь мир уже хохочет по си-эн-эн, а ему докладывают: несмотря на ваши указания, все попытки забить в нее сваи или завалить бетонными блоками совершенно безнадежны, материал со свистом проваливается в неизвестность, так что проект использования ее народнохозяйственных нужд невыполним, разве только, если обратиться к заграничным фирмам, есть ни в коем случае, есть рассмотреть проект аттракциона и облицевать края, чтобы хоть как-то выглядела, и что они там копаются? нервничает наш бедолага, сколько можно, и где портфель, где пиджак, раечка, позвони в гараж, а сам дает указания по вертушке, собирает пленум, встречается с народом, возлагает венок, вручает награду, объявляет выговор, сегодня же обменяемся, только вот где? на совете безопасности или на экологической комиссии? кто знает, где ее рассматривать? и вызвать председателя горсовета для персональной ответственности, и почему такая слабая работа с этой, ну с этим образованием? все, бегу, раечка, опаздываю на наше вече, а трубочки, как хочешь, отправь, например, ребятам на дачу, по телеку показывали, ну я и купил, слышишь: пи-пи-пи, а теперь ничего не слышно, пусть бузиной стреляют из них, придет? кто придет, я тебя не понимаю, раечка, говорит он, не ты сказала? а кто сказал? не придет, а грядет? а это что такое? и чего только не

выдумает, ну бегу, совсем опаздываю, где мой чемоданчик, вернусь к обеду, только, мамочка, не готовь сегодня макароны на обед, говорит наш горюн, а то все макароны да макароны, неужто больше ничего по талонам не дают?

глянь-ка, глянь в телек, и на арбате все с такими трубками, что за мода такая? а забавно, вот что значит, товарищи депутаты, говорит он, разбудить народную инициативу от долгой спячки, и я отвергаю всяческие инсинуации, что, мол, президент изменил народному счастью, выбору его дедушки, мы дополним коллективизацию приватизацией и будет консенсус, а депутаты шумят, тусовка на арбате волнуется, саш, саш, отойди от края, не мешай дяде работать, петровсидоров, ставь ограждение, особенно тяжело с детьми, товарищ корреспондент, того и гляди свалятся, уже туда ухнула пара мериносов, только и успели что ме-е проблеять, и все, а народ толкается, да пропустите же, я тоже хочу посмотреть, швыряет туда пустые бутылки из-под кока-колы и пачки от сигарет, никакого уважения, а лейтенант говорит, и вам советую купить тоже, пока цены не подскочили, да там, у праги кришнаиты продают, я купил, а то ребята все просят, пап, купи трубочку, у всех есть, а у нас нет, а скалолазы веревками обвязались и давай, травы помалу, зависли над краем и тюк-тюк, пытаются дымчатым мрамором окантовать явление, но больше минуты никто не выдерживает, холодно, и волосы дыбом встают, от электричества что ли, только васильки могут подольше постоять, заглядывают в нее и сиротливо мычат: ма-му-му-ма! а народ потолкается и опять к фотографам, кто с мишкой косолапым, кто на верблюде снимается, а кто к художникам идет на себя юмореску нарисовать,

ну вот, пожалуйста, говорит генерал гб в телеке, вполне мирная картина, стоит ли вообще дело затевать, ну дыра, ну скважина, ну засыпем, ну

облицуем, а глядя этот, с манежной кричит, мол, нет, так это дело не пройдет, давай, крути пленку и никаких закрытых заседаний, разберемся, что она означает, и каждый свое, генерал спецназ, мол, спали спокойно в своих кроватках, гб, мол, любера напали на грузинский ансамбль песни и пляски, требовали выручку или сионисты пытались сорвать консенсус, а дерьмократы: это амоны разгоняли митинг на национальный суверенитет, но не националов, а патриотов, кричат памятники, а милиция свое: был открытый спектакль театравахтангова на свежем воздухе и среди зрителей от восторга случалась давка, и в результате десятков трупов с резаными ранами и воронка от неизвестного взрывного устройства, причем отметим, товарищи депутаты, что все женского пола и в большинстве старушки, а откуда старушки взялись, когда сплошь молодежь была? и опять кто-то так глубоко и важно вздыхает, мол, приходит день, ой, она опять говорит что-то, вскрикивает пожилая девушка у вазочки с васильками, ничего не говорит, раечка, я по крайней мере ничего не слышу, откликается наш хлопотун, пи-пи-пи иногда, как со спутника, и все, а что касается этого дела, товарищи депутаты, ей, богу, клянусь билетом, номер такой-то на этот раз спал и не слышал звонка, и я думаю, мы поддержим народное мнение, посмотрим пленки на полузакрытом заседании и обменяемся на этот счет, и девушка говорит, мотор, мотор, пошла пленка, а верка кричит: колька, коль, опять пустили, гляди, наша пленка или нет? ой, коль наша, да не та, ты не давал им? так как же она к ним попала? гляди уже и минуты проставили, ой, звони скорей на телевидение, дурак ты, пусть остановят, ой, вдруг мамка увидит, а мы заливаемся у телеков, и депутаты покатываются, а кто возмущается, а бедолага наш раскраснелся, в телек вцепился, пот утирает, ну подумай, раечка, и что с ними делать? вот до чего

дошло, и нагоняй дает, и строгий выговор объявляет и издает указ о предварительном просмотре отечественной видеопродукции, это же просто манюэль какой-то, правда, я сам не видел, но товарищи говорили, что там что-то похожее и опять макароны на обед, ну сколько можно, раечка, а верка кричит, ой, больной мамочка, да отпусти ты меня, это не манюэль, а бертолуччи, а бертолуччи это почти что классика, как довженко, в школе показывают, а та: вот тебе манюэль, вот тебе бертолуччи, что я твою физиономию не узнаю что ли, ну приди только домой, путана ты такая растакая, задачки решать, упражнения делать, к экзаменам готовиться, так вот вы какие упражнения делаете,

ой, верочка, что же он с тобой, этот колька проклятый, делает? ну, я его мамке зенки повыщарапаю, ой убивец, да не так совсем надо, дура ты эдакая, все наоборот, ну, в бертолуччи ты же видела, ой, зачем же я тебя к нему отпустила, и этот все не так делает, все наоборот надо, ой, кричит тут наш горюн, вызвать ко мне главного редактора и дать опровержение, мол, это не отечественное производство, а импорт, и спрашивает, раечка, а что, правда, не так надо, а как? ма-мо-чка, а дивчина она видная, и губки-бантиком, но вот для сцены у фонтана слишком аэробичная, не обижайся, раечка, где министр по вопросам молодежи, кричит тут писатель в белой рубахе из цдл и хлоп резолюция на стол президиума: запретить аэробику, наложить эмбарго на ввоз видеков в северные области, а то вологодские буренки совсем перестанут доиться, вот до чего дошел развал державы, вот что сделали с нашим римом кооператоры, идет козел, зовется манюэль, с запада, идет по нашим лесам и полям, прельщает народы, предали нашу надежду беловодскую дерьмократы, шиши, прелагатаи, блядины дети, а вы, депутаты, только хотите с латыньянами курки рафленные кушать по своим

макдональдсам и глядеть видики, и обнимает генералов, вставайте, миленькие, от кромки и до кромки, подымайтесь из заволжских лесов и с пустозерья с вилами и топорами, и придут еще к стенам кремля сказать свое слово наши васильки, а василек бегаёт меж рядов депутатских, увы, измолче, моя гортань, исчезосте мои очи, в цепях, с деревянным крестом на груди, плюется, камни швыряет, пальцем корявым тычет депутатам в уши и тому писарю из цдл тоже, а те отбиваются, амон, кричат, кто такой, что за гомоноид гималайский из зоопарка сбежал, его тащат, а он фиал свой показывает, васильковыми очами сверкаем, и синяя даль открывается, и леса шумят, и шелест, и хлопанье крыльев в зале, и вода журчит, и плеск словно морской, а писатель переминается с ноги на ногу, смущается, вот я тут еще стишки написал для совраски, читай, кричат ему депутаты, что стесняешься, а вот встал, руку вытянул, ак минин и пожарский и пошел, народ российский, ты нам скажи, что ты хотел с россияей сделать, хотел ты ценность погубить, историю поставить на колени, иди сейчас и извинись, как дальше жить, как дальше быть, как нам страну угомонить? вот, говорит, и пот утирает, и кланяется, и просит не хлопать, да успокойтесь вы, товарищ писатель, это вовсе не верка, кричит министр по вопросам молодняка, и не манюэль, а бертолуччи, классика, все равно что мосфильмгорького, это по сценарию плутарха что ли, сейчас мы киноведа пригласим и все разъяснится, а шахтер тут вскакивает, ну этот, раечка, который все время против голосует, и начинает свое бубнить, правильно, мол, товарищ писатель, мы его байки любим читать, особенно эту, про ненаглядную любовь до гроба, про солонию, или как ее там, про февронию, что ли, а тут черт знает что, извините, вчера в гостинице трубку телефонную разбил, обои в номере ободрал и кровать продавил, ма-му-му-ма!

так ворочался, спать не мог, и штраф заплатил, звонит мне такой милый голосок и говорит: папаша, я прекрасный гетерогенный абонент из единой российской племенной книги фотомоделей совместного предприятия клеопатра, двадцать тысяч деревянных или пятьдесят целковых гринов, вот до чего дело дошло, ну и где же тут хоть какая-то социальная справедливость, да наши ребята вкалывают за пятьдесят баксов целый месяц, полки пустые и девушки наши усталые, ни на дискотеку, ни на видики не хотят ходить, и долой правительство, и повесить зарплату в тридцать раз, чтобы с гринами сравняться, и да здравствует диктатура пролетариата и четвертый интернационал, а этому смутьяну-прелестнику глаза повыколупать, да взащей его, взащей, ты видишь, раечка, как разорался, а еще о молодежи беспокоятся, не пора ли чрезвычайное положение ввести? а тот свое: и чудится мне, эта девушка, что в вчера мне звонила, и есть та, что выделяет такие чудесные номера на экране, нет, товарищ шахтер, кричит доктор искусствоведения, это бертолуччи по сценарию древнего автора светония о римских временах, конечно, многое нам непривычно в таких произведениях искусства, но это не должно нас смущать, ведь и у нас были талантливые летописцы, как нестор, карамзин или барков, только видиков тогда не было, и поэтому не было наглядности, какой древний рим, кричат депутаты, разве это не арбат? вот кришнаиты с колокольчиками у праги, вот ушные трубки продают, да это не кришнаиты, кричит киновед, это древнеримские дервиши, а вот художники с подносами, роспись-то нашенская, а эти уж явно наши любера, а что, кричит кинолюб, разве древнеримских люберов не бывает? да таких ни в одном риме не сыщешь, ему кричат, а вот две старушки прогуливают котов на веревочках, гнут свое депутаты, такие только на арбате водятся,

и вот, наконец, вот она, тусовка у театравихтангова, в основном женщины и дети, свечки в руках, поют, танцуют, кто в чем, кто в кавказской черкеске, кто в бухарском халате, а кто в вышивной рубашке и в сапогах, хоругви, спас и аллах с нами, и тут крик поднимается в телевизоре, и депутаты шарахаются: что за пленка? что с пленкой? что за кадр? что за морда пасть разевает? что за хвост, змей что ли червленый? дефект пленки? вываливается гадина прямо из спасоколенного, да нет, из кривоколенного, гремит железом, да это бэтеэр, не бэтеэр, а трамвай, да откуда теперь трамвай на арбате, да не трамвай это, а таратайка какая-то, кричим мы у телеков, все, стоп, говорит та девушка пожилая в телеке, извините, уважаемые депутаты и телезрители, сплошное затемнение, ничего не понять, похоже, все три пленки перепутались: из горсовета, гб, и эта любительская, с веркой и колькой, мелькают какие-то фигуры, мечутся, что, кто и кого, понять невозможно, слишком засмотренная пленка, вот, представляешь себе, раечка, что получилось после экспертизы в гб, вот и верь им, давай-ка прогоним немного, ага, вот, ну это уже вообще непривычная эстетика началась, раечка, говорит он, что за режиссер? и почему, если это древнеримские войны, то в наших касках и противогасах, и откуда саперные лопатки? а доктор искусствоведения кричит, я сейчас все объясню, это прием такой, а может, не прием, может, в древнем риме была похожая амуниция, кричит генерал гб, да это не саперные лопатки, кричит генерал спецназ, и присмотритесь, это древние дротики, а почему тогда погоны наши? кричат депутаты, а бедолага наш от телека не отходит, волнуется, мол, если это наши, то что это за поведение? что это за оргия такая? нет, это не наши войны, нет, они свои дротики не вынут без приказа, эх, юность наша боевая, раечка, да это же римский танец орла, кричит доктор

искусствоведения, протестуем, кричит генерал спецназ, стоп мотор, а зрители звонят и в вече, и на студию, представляешь, раечка, мол, почему остановились, хотим досмотреть бертолуччи, а другие шумят, категорически протестуем против эстетики товарища бертолуччи, все, говорю им твердо, стоп мотор, мы не дадим запутать нас этой эстетикой,

и вызываю свидетельницу с арбата, отобрал старушку поинтеллигентней, пожалуйста, говорю, поднимитесь на трибуну, кота можете оставить в зале, нельзя? ну, пожалуйста, берите кота с собой, как его зовут, альбертиком? ну, налейте ему в блюдечке нарзана, только говорите в микрофон, что вы там все ахаете, а депутаты шепчутся, у кого трубочка есть, передай по рядам, что за звук? фонит сильно, а старушка налила коту нарзана, поправила вуальку на шляпке и говорит: ахарбат, ахарбат, товарищи депутаты, любите ли вы его, как я? родиться и умереть на ахарбате, это была просто прелестная постановка, сравнимая с вахтанговскими премьерами, какая пластика, какие голоса, режиссер, вижтюк что ли, но что за народ стал у нас, и глаза ручкой прикрывает, вы же знаете, каким столпотворением закончилась эта премьера, стыдно сказать, что стало с ахарбатом, ну просто рижский рынок, спать не дают до четырех утра, валерьянка пропала в аптеке, творога не допросишься в диете, а грохот был такой, я думала, снова война началась, пошлют окопы рыть и надолбы ставить за родину – за сталина, правда, уже темно было, и я не уверена, что все разглядела, но убеждена, это была такая древняя колесница, бэтеэр что ли называется, и на ней в плаще и лавровом венке стоял этот калигула из светония или плутарха, с дипломатом в руке, и рядом бежали воины в касках с мечами и ружьями, и какая пластика, какая мускулатура, какие мышцы, наверное, чувствуешь себя беззащитной голубкой в таких мужественных

объятиях, какой эффект, черные и оранжевые трико на юношах и легкие голубые накидки на девушках, а какую выразительную группу образовали эти невинные овечки у колонн театра, то легкими пробежками они пытаются скрыться от окружающих их войнов, то, понимая свое безвыходное положение, всплескивая руками, снова группируются у колонн, тут и бис, и браво, и цветы, а какая музыка, второй концерт-попурри шнитке для фортепьяно с оркестром из ленинградской шостаковича и реквием моцарта, а эти световые эффекты, лучи прожекторов, бьющие прямо с колесниц в робко пятящуюся толпу с зажженными свечками в руках, хор взмывает ввысь, но металлическая команда обрывает полет,

и вот уже воины выхватывают свои саперные лопатки, извините, древние дротики, я хотела сказать, и пытаются заключить девушек в объятия, а те, ловко изгибаясь, выпархивают и убегают, а юноши плавными прыжками настигают их со своими саперными дротиками наизготовку, с чем, с чем? товарищ старушка, кричит генерал, все-таки с лопатками или с дротиками? а та не слышит, и вот они уже валят их прямо здесь же на мостовой, на ахарбатский мусор, совсем убирать перестали, накидки взмывают вверх и опадают такими красивыми складками, нежные ручки молят о пощаде, а главный амон, этот калигула, прямо на меня, и я чувствую, что вдруг преображаюсь, вдруг становлюсь совсем иной, и кровь в мне вскипает и щеки начинают гореть, и легкая голубая накидка тоже вздымается на мне и опадает красивыми складками, и я заламываю ручки и молю его, но эта лопатища, или дротища, не знаю, как правильно сказать, но все равно такого ужаса я никогда не видела, беспощадно рвется в меня, и вот она, или оно, уже врывается в меня, и в последний миг, теряя сознание, я, скосив свои прекрасные мерцающие глазки, вижу, как струится кровь по

рассеченным пластмассовым личикам девушек и как по куче арбатского мусора, изгибаясь струится огненная змея, и тут все во мне взрывается, он, калигула! мой амон! земля разверзается, а я проваливаюсь в бездну под заключительные аккорды шнитке из шостаковича и моцарта, очнулась дома, мой альбертик до сих пор заикается, за окно смотрю, ой, что это? глазам не верю, а там оно или она, не знаю, как сказать, вот до чего дошли, сами взгляните в телек, все ноет, на щеке, смотрите, царапина от его погонов, хотя чувствую себя бодро, добавляет она шепотом, как-то по-весеннему, ты представляешь, раечка, какие пошли теперь старушки, и генерал спецназ кричит, что она за свидетельница, совершенно недостоверная старушка, даю ей отвод, да и дипломата у меня никогда не было, только вещмешок, у нас есть своя вполне документальная бабушка, вот послушайте, никаких саперных лопаток, бэтеэров и так далее, а та, другая старушка, в платочке, уже карабкается на трибуну, и тоже с котом да еще с кошелкой, та хоть с сумочкой была, не верьте, касатики, не верьте вы этой абрамовне, скрипит, она всегда гнела трудовой народ, еще до того нашего холокоста, и сейчас икру ложками лопают, в одной коммуналке живем, все знаю, я сейчас вам все по порядку расскажу, никаких лопаток не было, и не выбрал этот главный амон, а меня,

депутаты уши наострили, у меня, раечка, прямо зубы заболели, ну что у нас такое творится, даже старушки стали какие-то приблизительные, и начала, начала что-то шамкать, а депутаты кричат, говорите в микрофон, товарищ старушка, и той девушке пожилой в телевизоре кричат, не только ничего не слышно, но и почти не видно, сделайте поярче, пожалуйста, и друг друга спрашивают: у кого трубки работают, передавай по рядам, а трубки пи-пи-пи и все, ну, звук кое-как наладили, и старушка свое гнет,

пошли, мол, мы с нашими котками погулять, моего васюткой зовут, и только подошли к углу кривоколенного, нет, спасоколенного, и тут как загремит, как затарахтит, и как выедет из-за угла эта самая колесная тарахтайка, а на ней стоит этот самый главный, да кто главный? – кричит генерал, амон или калигула? он, он, причитает бабушка, амон-хулигула такая с вот такой колотушкой наизготове, и с торбочкой-саквояжем в руке, а депутат заливается, а генерал бранится, мол, и эта совершенно искаженная старушка, а та пошла, пошла, и что за жизнь такая теперь на арбате, сплошные урки, калачей свежих не достанешь, хиникс пшеницы идет по тридцать динаров, винцо по талонам, а еся и вовсе не купишь, хоть со знаком стой, хоть без знака, а недавно посылки из латыньских стран раздавали в жэке, так мне и колбаске даже не досталось, вручили только пачку германских этих самых, ну как их, и шепчет в микрофон, презервативов, а колбаски – шиш, а эта себе всего схлопотала: и того, и другого, не плачь, старушка, кричат ей депутаты, мы знаем, что народ живет после стольких лишений нелегко, и все делаем, чтобы было не хуже, чем раньше, ты будешь счастливой, старушка, мы тебе еще дадим посылку и твою комнату навечно закрепим за тобой, а старушка слезы утирает, кланяется, спасибо, сынки, и гнет свое: выезжает, мол, эта самая тарахтейка, а из кривошейного, да нет, из криворожного переулка, другая, сам третья, гремят, собачьи головы к ним привязаны мотаются, а на них стоят эти самые опричные амоны, любера римские, саранча проклятая с хоботами противогазными, все в бронях, шумят, из хвостов своих, жал тех, народ жалят огнем, а народ кричит, амон нам пришел, амон, девушки на коленях падают, свечи зажигают, кричат, несите нам белые рубахи, а им отвечают, не будет белых рубах, все прачечные закрыты, забастовка коммунальных служб, и песно-

пения торжественные: ей, пора, ей, пора! а оранжевые свои морды затянули черными чулками, наставили на девушек свои саперные колотушки поганые, кричат, визжат, направо, налево ими лупят, и все прибывают, от никитских ворот, от пречистенки, с сивцева вражка, и не расквелишь их, этих малюток поганых,

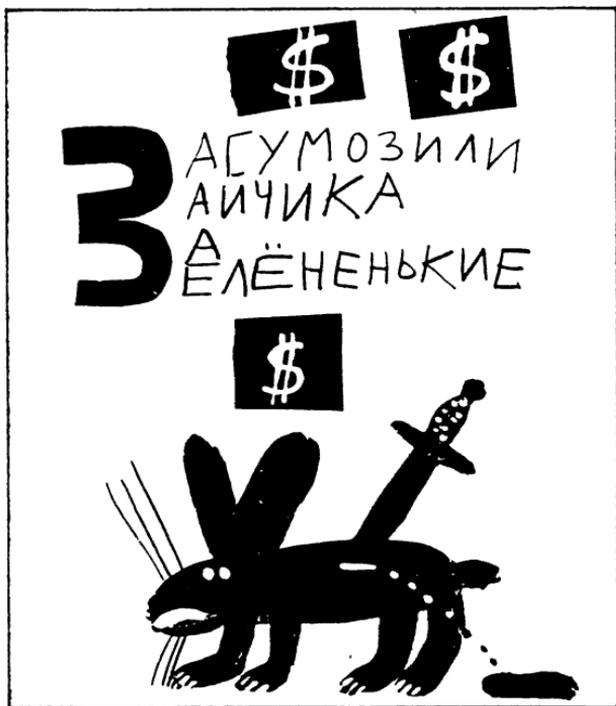
а главный малютка выбрал вовсе не ее, а меня, ой, всколыхнулись мои годы молодые-далекие, ой, захолонуло сердечко девичье от проклятого, валит он меня на кучу мусорную, никто не убирает, куда попов смотрит, и начинает терзать меня лопатой своей древней, и вот уже врывается, ой, кричу, постой, малютка ты мой, но огонь уже змеей завился по мусору, и подружки мои лежат побитые, вокруг ручки-ножки валяются, и как рванет тут! и открылся кладезь бездны, и дым идет, будто в те времена, как бомба пала здесь напротив театра, когда война была за родину-за сталина, вот как было, господа заседатели, а васютка мой до сих пор в припадки падает, нет! кричит генерал, мы ошиблись, этой старушке тоже верить нельзя, а насчет саквояжа я уже давал пояснение, а доктор искусствоведения кричит, ничего себе старушка, насмотрелась бертолуччи, а, возможно, и манюэля, вместо того, чтобы молоди пример показывать, накупили себе видиков, какой талуччи, какой манюэль, у той контры с альбертиком есть видик, а у меня только васька, а она меня никогда не зовет посмотреть, а что мне ее видик, я и в видеокафе могу сходить напротив, да еще с мороженым посмотреть, вот какая катавасия, раечка, ты представляешь, тут уже пора задуматься не только о молодом поколении, но и о ветеранах, а гдлян кричит, что за игровое кино нам тут подсовывают, перевести этих режиссеров из гб в студию мосфильмгорького, пусть там ленинские премии получают, а генерал требует, ну давайте еще немного посмотрим, там

документально зафиксированно наше отсутствие на месте боевых действий, вот, пожалуйста, вот, пожалуйста, койки стоят, вот, пожалуйста, солдаты спят, подложив ручонки под розовые щечки, и представь себе, раечка, действительно спят, а вот и сам генерал, обратим внимание, уважаемые депутаты, тоже на койке, рядом со своими солдатами, и мерно вздымается его могучая грудь в тельняшке, и ордена на ней слегка шевелятся, он, — страстно кричит старушка в вуальке, — вот он, мой амон-калигула ненасытная, он мой амон-хулигула ненаглядная! кричит старушка в платочке, и спешат обе к президиуму и бросаются генералу на шею, а тот от них отбивается. коты визжат,

да я не это, кричит генерал, вы же видите, я спокойно сплю на койке, и не шейте нам это дело, и женщин никогда не знали, мы все принимаем таблетки ревеня, снижающие всякое жжение, а это что? кричат дерьмократы, ничего себе ремень! звонки на студию непрерывные, провокация, кричит генерал спецназ, мы этого не снимали, фальсификация кооператоров, представляешь себе, раечка? хорошо, что ты не видела, ну и саперные дротики у наших ребят! орлы, такие и до босфора, и до аляски дойдут, а потом и генерал в натуральную величину, ну просто суворов! все, думаю, пора прекращать это расследование и послать его в комиссию для доработки, и твердо так говорю той девушке пожилой в телевизоре, народ требует правды, дай-ка нам прямой репортаж с арбата, что там такое? а она говорит тому пареньку джинсовому в бронежилете с микрофоном, мишь, мишь, ну что там у вас на арбате, глядь, а там будто продолжение видика, вот куча мусора, вот старушки лежат, и та, и эта, в вуальке и в платочке, с их фарфоровых личиков кровь течет, а хлопотун наш сидит красный, эх, раечка, а хороши эти наши девушки-старушки, правда? жаль, а ведь

таким можно было бы вполне с почетом что-нибудь вручить у фонтана, и валяются саперные лопатки, и огонь змейкой бегаёт по куче, сейчас рванёт, ложись, кричу депутатам, затыкай уши, все трубочки побросали, и мы кто куда, кто в другую комнату выскакивает, кто ящик вырубает, девушка побледнела вся, — и то экрана, я уши заткнул, и, правда, тут как рванёт! ничего не видно, дымина, все задыхаются, кашляют у телеков, клубится что-то багровое, тьма огненная, ну сама знаешь, что за цвета у нас, то ли зверь какой-то пасть разевает, то ли змей, непонятно, крики, стоны, вздохи слышатся, мелькают тени, а верка кричит, колька, коль, вот наша пленка, проясняется: арбат, кучи нет, а вместо третьего фонаря напротив вахтангова у магазина самоцветы — промежуная скважина, люди кое-где выглядывают из подворотен, вот, коль, смотри, я снимаю, кричит верка, а у дыры только пара мериносов и страус косматый, и когда мы от них избавимся? сколько ни говорил с горсоветом, все на месте, ну прямо зоосад развели, и дышит она, эта промежуность, колышется, как-то даже извивается, тьмой наливаются, а на дне тьмы ее мерцают звезды, семь штук, только не понятно, кто мог снять вид сверху, с фрамуги, где камера гб, не удалось бы, и ахарбат уже не арбат, а даль неоглядная, и в конце улицы, у праги, стоит кто-то чугунный в плаще внакидку, и как он на месте остался? нахохлился, смотрит исподлобья в дали те опоньские, беловодские голубые-золотые, а там тайга шумит, дивные реки текут, в полях пшеница и васильки, и стоит наш василек, улыбается, почесывает грудь мохнатую с деревянным крестом и крестится, и тишина такая, что уши болят, и сладко на сердце, и белый голубок плещутся над тем новообразованием, взмывают, клювики раскрывают, целуются и видно, как в воздухе огненными знаками, словно световым карандашом, что-то пишется на непонятном языке,

но читается без труда: братие! товарищи! и крылья в зале хлопают, легкие перышки сыплются, мелькают среди депутатов, а из кладезя того, словно из спутника, пи-пи-пи, и вздох раздается: ей, господи, ты сам веси, а потом таким хриплым голосом, как у володьки высококого: слу-у-шай! а паренек тот джинсовый сообщает, увы, уважаемые телезрители, на сегодня пленка вышла, а девушка та пожилая в телевизоре вертит в руках трубочку, и говорит задумчиво, вот такие новинки, и выключает ящик, но вот что удивительно, раечка, заключает наш горюн, ведь я проверил, в дивизии все боекомплекты на месте, так от чего то прободение? и где? – на арbate! и что тепер с ней делать?



ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

2. Андрей Синявский. Факт сотрудничества с КГБ признал сам, объясняя это различиями в ежающихся обстоятельствах в еженедельнике «Московские новости» от 21 января 1990 года и в телевизионной передаче «Пятое колесо» по ленинградской программе. Об этом же свидетельствуют недавние политзаключенный писатель Ф.С. тов в парижской «Русской мысли» от 6.03.92 года и бывший друг мого Синявского Сергей Хмельский в израильском журнале «22», N 48.

Вся газетная кампания в России по отмыванию имен Синявского и Розановой выстроена по хорошо известному нам образцу, начиная от помещения этих материалов под одинаковую рубрику «Скандал» в различных медиа и кончая стандартными фразами о фабрикации документов самим КГБ. Чего новым российским редакторам недостает — так это разнообразия.

ИННА РОГАЧИЙ

Новые грехи старого Абрама

Андрей Синявский как агент КГБ

Михаил Хейфец "Вести" Пятница 11.9.92

■ С К А Н Д А Л ■

Кагэбэниада Андрея Синявского

В последнее время со страниц самых разных газет и журналов один известный писатель русского зарубежья **Владимир МАКСИМОВ** усердно пытается обвинить в сотрудничестве с КГБ другого известного писателя русского зарубежья **Андрея СИНЯВСКОГО**

КОНТИНЕНТ

ОТ РЕДАКЦИИ:

Теперь, когда в еженедельнике "Московские новости" и в телепрограмме "Пятое колесо" М.Синявская сама признала (и за себя и за мужа) факт своего далеко не кратковременного сотрудничества с КГБ, мы сочли своевременным вернуться к публикации израильского журнала "22", которую мы помещаем выше.

В свое время она вызвала бурную реакцию друзей и знакомых Синявских. Все они единодушно осуждали греховное прошлое автора статьи и отдавали дань героизму обвиняемого, но никто из них так и не ответил на самый простенький вопрос: сотрудничал их герой с КГБ или нет?

Теперь, когда, повторяем, на него ответили сами обвиняемые, мы считаем себя вправе вернуться к этой проблеме.

В новом свете предстают отныне и льготные, в отличие от его подельника Юлия Даниэля, условия пребывания Синявского в лагере, и его досрочное освобождение по помилованию*, и комфортный отъезд четы Синявских на Запад с уникальной библиотекой (в ту пору запрещались к вывозу даже книги до 45-го года издания) и музейными ценностями, включая баснословно дорогую икону св.Георгия XIV в., и, наконец, их целеустремленную деятельность в Зарубежье по компрометации А.Солженицына, А.Сахарова, а также всех тех, кто отказывался участвовать в этой деятельности.

По-прежнему выглядит теперь также самый суд над Синявским. В свое время последний с подачи Е.Евтушенко (кстати сказать, тоже недавно уличенного в связи с КГБ) на страницах французского журнала "Обсерватор" заявил, что процесс был спровоцирован ЦРУ. В американском журнале "Нью репаблик" бывший ответственный сотрудник этой организации Дж. Джеймсон категорически отверг эти обвинения. Сам КГБ по этому поводу упрямно отмалчивается.

Остается подождать развития событий.

М.Розанова

АПРЕЛЬСКИЕ ТЕЗИСЫ Эд. ИОДКОВСКОГО

или надцатый суд над Андреем Синявским

Странные вещи творятся в подлунном мире. Открываю газету «Литературные Новости» № 6 и обнаруживаю анонимный коллаж, смысл которого – объяснить советскому читателю, какой бяка Андрей Синявский, который, оказывается, в далекие 48-49-ые студенческие годы, по заказу всемогущего МГБ подрядился погубить бедную француженку Элен Пельтье (Замойску). Коллаж большой – почти полная газетная полоса: 9 строк редакционных – дескать, «проливаем свет на предысторию» дела Синявского-Даниэля, 44 строки экспозиции – отрывок из моей заметки в «Московских новостях», где излагается история вопроса, 243 строки «прокурорских» – известного московского доносчика Сергея Хмельницкого (отрывки из его статьи в журнале «22» N48), 143 строки «товарища прокурора» А.Воронеля (там же) и, наконец, клеймящий приговор нашего нового христианина, коня леченого Феликса Светова: «нет омерзительнее запаха, чем любое сотрудничество с ГБ...» («Русская мысль» 6.3.92).

Не могу спорить: действительно, у сотрудничества с ГБ запах всегда омерзителен, хочу только спросить у русского писателя Светова, что такое «со-трудничество», каков смысл этой невинной приставки? И если не совсем я забыла русский язык, то всегда она означала одно - общность дел, помыслов, идеалов: собратья, сотоварищи, сослуживцы, сокашники, сотрудники. А какой же между ГБ и Синявским общий интерес и прочее «СО», если задача могущественной организации была отловить француженку, а у студента-то Синявского в помыслах совсем иное: спасти, отвести беду. Именно с француженкой начал со-трудничать Синявский, когда рискуя головой раскрыл ей планы ГБ. Да, да, рискуя жизнью, потому что француженка у нас была не простая, золотая – дочь французского военно-морского атташе адмирала Пельтье и его сотрудница, а не просто французская студентка. Сегодня уже естественно спросить: а почему бы студенту и не отказаться? Может быть у Синявского и был такой ход (чреватый, конечно, в сталинские времена, но не обязательно смертельный) – умыть руки, но... Элен-то это не спасало, охота на нее шла всерьез, и не было никаких гарантий, что ее не погубит следующий студент.

Самое забавное, что все изложенное в предыдущем абзаце не новинка: все это уже было сказано сухим конспектом в первых 44 строках анонимного коллажа, более того – там говорилось еще о том, что «эта детективная история на всю жизнь сдружила московского студента с француженкой: потом, начиная с 1956 года, именно она перевозила рукописи Синявского и Даниэля во Францию и занималась их публикацией» и еще о том, что все эти события француженкой ПОДТВЕРЖДАЮТСЯ. Но если ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ версия, изложенная Абрамом Терцем в романе «Спокойной ночи», то противоположные версии и оценки (Хмельницкого и Светова) могут быть только клеветой и инсинуациями, но почему-то такой разнотык и несвязанность концов с концами в материале, порочащем Андрея Синявского, Эдмунда Феликсовича Иодковского ничуть не встревожили.

Я человек простой: получивши эту замечательную газету, звоню из Парижа в Москву члену редколлегии Юрию Бореvu, когда-то подписавшему письмо писателей в защиту

Синявского-Даниэля, и спрашиваю: как же так? и чей материал, почему анонимочка? Это ужасно, это гадость, узнаю, – отвечает мне Юрий Борисович, но узнать ничего не может, ибо главный редактор хранит военную тайну. Но я-то человек простой, могу и сама к Иодковскому обратиться. Звоню. Обращаюсь. Бросается наш редактор грудью на амбразуру словно Александр Матросов – сам, говорит, коллаж составил и все только по печатным материалам. А это, а это, а вот это почему не включили, и главной героине (она же единственный свидетель) слова не дали? – не отпускаю я асида. Не знал, говорит, что такое есть, роман «Спокойной ночи» не читал, коллаж получил готовый, а от кого – опять в глухую несознанку. Голубчик, но если такая у вас тотальная секретность, значит не самое красивое дело сделано.

Дальше – больше. В следующем, 7-ом номере «Литературных новостей», еще один великий русский писатель Вова Максимов «открывает» глаза общественности на Синявского, клеветца каждой фразой, каждой строкой, а в редакционной врезке это называется «мы лишь хотим содействовать нравственному очищению нашего общества». Хотите содействовать – научитесь читать, думать, научитесь проверять материал, который публикуете, особенно если это острый материал.

На три копейки анализа и станет очевидно, что у Синявского с Лубянкой было не сотрудничество, а война, причем война, из которой он вышел победителем, чему есть два доказательства. Первое – письмо Элен Замойска. Бедная француженка ЧЕТЫРЕЖДЫ прокричала в русской прессе («22» N49, «Время и мы» N91, «Континент» NN49 и 50) «ты открыл мне планы МГБ», «ты никогда не был предателем», «ты не обманул меня», а клеветнику-Вове на все на это положить нечто свое, невымытое... Второе – скамья подсудимых в знаменитом процессе, где Синявскому было гораздо легче, чем в звездные сталинские времена: ставкой был всего-навсего срок, а не жизнь. Да и сидел он на этой скамье не один, а вместе с Юлием Даниэлем, француженка лишь витала в воздухе, над головами подсудимых, наподобие глубокого неуловимого призрака, а друг-Вова еще не вышел на большую дорогу и проводил свое время преимущественно в ресторане ЦДЛ. Каждый сидит, где может...

Вот написала: «на три копейки анализа» и с горечью подумала – а не требую ли я от советского человека невозможного? Самостоятельности мышления, например, смелости рассуждения, да и просто элементарной смелости?

Кто знает, может быть за годы советской власти мой народ настолько выродился, что иное отношение к собственной (а стало быть и к соседской) личности кроме как по формуле: «единица вздор, единица ноль» стало невозможным? И когда вам рассказывают (с документами), что кто-то (А. Синявский) совершил поступок нестандартно-героический, вы (в большинстве своем) замираете как провинциалы в зоопарке перед жирафом: «не может быть...», а потом вопите; «ату его!»

Когда-то отношение к делу Синявского-Даниэля было лакмусовой бумажкой возникавшего в конце 60-х годов гражданского общества. Если позволить себе некоторую стилистическую вольность, то можно сказать, что многие сегодняшние вольнодумцы вышли из этого процесса как русская литература из гоголевской шинели. Что же вы плюете в свое прошлое? Почему доносчик Сережа Хмельницкий стал вам настолько дороже и ближе Андрея Синявского, что вы не погнушались напечатать сережину клеветническую статью о неопубликованном романе Абрама Терца «Спокойной ночи»? И почему вы скрыли от читателей все, что последовало за публикацией Воронеля-Хмельницкого в журнале «22»? Статью Эткинда, например, или Юрия Брегеля, отклики на происшедшее Юлия Даниэля или Ларисы Богораз?

Увы, все это в нашей жизни уже было. В феврале 66-го. Произведения Абрама Терца (А. Синявского) никто не читал. Клеймили его во всех газетах. А свидетелем обвинения был Хмельницкий...

Сегодня вы кинулись искать стукачей. На первый взгляд весьма похвально. Но только на первый взгляд, потому что подумайте сами, тихонечко, про себя, вслух не надо – сколько каждый из вас – читателей, писателей, издателей, навешал на ближних таких ярлыков? Вам не страшно? Храбрые люди. Только добра у вас не будет. И счастья не будет. Потому что из десяти заподозренных вы мысленно, в сердце своем, оклеветали девятерых. И может быть нехорошо ставить себя в пример, но за всю жизнь я только двух

человек обвинила в связях с Лубянкой, и один из них был Сергей Хмельницкий, усадивший в 1949 году двух своих друзей – Ю.Брегеля и В.Кабо – на 10 лет каждого.

Что же мне делать? Как слабая женщина я плачу над судьбой вечного подсудимого. Как человек игровой и веселый – я не могу не восхищаться разворотом событий, обрачиваемостью добра злом, реализацией метафор, бунтом романтных персонажей и всем этим карнавалом, как говорят теперь пошляки. Как человек юридически оснащенный, я вижу здесь материал для судебного процесса о чести и достоинстве – так, кажется, это называется. Но более всего в этой ситуации я ощущаю себя ученым-гельминтологом, что настраивает созерцательно и почти лирически.

«Литературные новости» № 9, 1992



По рецептам КГБ

Ефим БЕРШИН

"Разборки" неистовых ревнителеей

Хотя они и ведутся в интеллектуальной среде,
но явно выходят за рамки приличий

Из газет...

М.Розанова

АБРАМ ДА МАРЬЯ

1

Когда в далеком январе 55-го года начался наш роман с Синявским, решающую и, как положено в романах, роковую роль сыграла занимательная история про Синявского и француженку. История про то, как в студенческие еще годы (1947-1948) пытались его завербовать вездесущие чекисты и приспособить к государственной надобности и пользе: для охоты за сокурсницей-француженкой, дочерью французского военно-морского атташе адмирала Пельтье (история эта описана в автобиографическом романе Абрама Терца «Спокойной ночи»), а Синявский, вместо того, чтобы работать на органы, все рассказал француженке. На юридическом языке того времени совершил измену родине, выдав иностранке государственную тайну. Не сдался, не сломался, не струсил, не предал, а спас.

И я это поняла, что вот это и есть для меня единственно надежный и заманчивый вариант: ни за Ваню, ни за Петю, ни за Жору, ни за Женю, а только с Синявским, и надо

сделать все, чтобы выйти за него замуж и обеспечить себе тем самым интереснейшую жизнь.

Сегодня многое, о чем я рассказываю, стало общим местом: и кагебешников мало-помалу научились посылать иногда хутор (бабочек ловить), и за границей кто только не печатался. Но перенеситесь в тот далекий год: за спиной, из ближайшего прошлого, сияет товарищ Сталин, до XX съезда годик с хвостиком, но как живы рассказы о тех, кто сел или погиб за связи с иностранцами.

Еще дымится сталинское пепелище и мы ходим по его головешкам, и нет еще никакого «Доктора Живаго» в заморском издательстве Фельтринелли, а у нас уже намечается увлекательная жизнь. Тем более что француженка – Элен Пельтье (Замойска) – рядом, потенциальная жертва, ставшая ближайшим другом, и на горизонте маячит новый сюжет с приключениями: Синявский пишет произведения, Элен возит их за границу, и чтобы никто, кроме меня, про это не знал.

Конечно, если все получится по задуманному, Синявскому в результате придется сидеть, а мне носить передачи. Но ведь можно этот арест оттянуть и сесть как можно позже, а до ареста столько шороху наделать! А чтобы позже посадили, надо постараться понять, что это за таинственное учреждение, которое сажает, – Лубянка. Как она работает? В чем ее сила и есть ли у нее слабости?

Когда посадили Синявского, меня взялись опекать старые лагерники: Варлам Шаламов, ребе Пинский, Наталья Ивановна Столярова, Копелев... Я часто и много разговаривала с ними о лубянских и лефортовских допросах и меня поражало наше взаимное непонимание и возникающие по ходу разговоров стычки. «С ними ни о чем нельзя разговаривать, им ничего нельзя доказать», – утверждала Н.И. «Они вас все равно запутают, они мастера» – вторил ей Лев Копелев, и только Шаламов, уставившись на меня колючим глазом, разлеплял безгубую пасть скептическим: «интересно, но они – система, а вы? Что вы против системы?» Как я была благодарна Варламу Тихоновичу за это «интересно», в котором если и не было согласия, то присутствовала редчайшая среди моих собеседников готовность подумать, а не отвергать с порога нестандартную идею.

А спор тогда шел о самом для меня главном: что делать?

как себя вести? и - кто сильнее? И я не сразу поняла, что в этих перепалках в первую очередь сказался наш разный опыт. Да, все они были прекрасные люди, все они достойно прошли через ГУЛАГ, но все они сели *ни за что*, и были поэтому не бойцы, а *жертвы*, все они попали в лагеря, не сделав для этого ровным счетом ничего, только силой сталинского произвола. Поэтому и психология у нас была разная – они страдальцы, а мы – разбойники. В 55 году Синявский объявил мне, что собирается печататься за границей, в 56 было отправлено первое сочинение, в 65 – арест. Таким образом от первого разговора до ареста прошло 10 лет. А что такое 10 лет, если заниматься делом, за которое впереди мерцает Лубянка? Это, считайте, два высших разбойничьих образования, со спецкурсами по выдержке, конспирации, отвлекающих маневрах, дезинформации, прикладной психологии, и даже цвету лица.

– Мария Васильевна! Знаете ли вы аспиранта Х. и какие у вас отношения?

- Да, знаю. Хорошие.

- О чем вы с ним разговаривали при последней встрече?

- О любви.

- А с архитектором У.?

- О любви.

- А с переводчиком Й.?

- О любви.

- То есть?

- Поймите, – мне 25 лет, мне пора замуж, у всех подруг уже дети, поэтому последние 2-3 года я общаюсь только с потенциальными женихами.

Этот разговор назывался «допрос свидетеля» – первый допрос в моей жизни - и имел место осенью 56 года. Минувшим летом произошли два события: первая отправка текстов Абрама Терца во Францию и бегство моего приятеля в Германию. Он пришел ко мне накануне своей туристической групповой поездки – проститься, сказать, что если повезет, то может быть и не вернется, получить от меня кое-какие поручения и адреса (на всякий случай). 30 августа он не вернулся, а месяца через три меня пригласили на Лубянку, где я защищала свою первую уголовную курсовую и за проведенных в этом учреждении 8 часов кое-чему научилась.

Первое - говорить надо много и охотно, вовлекая человека в беседу: так как мой противник служащий весьма молчаливой фирмы, где интеллектуалов не густо и все хранят гостайны, что не слишком располагает к застольному трепу, то бурный словесный поток его утомляет. Второе - он такой же человек, как и я, и даже цели у нас сходные - информация: он хочет получить ее от меня, не сообщив ничего лишнего, а мое дело, раз уж я здесь очутилась, не сообщив ничего лишнего, постараться понять и узнать максимум. Третье - я поняла, что совсем не интересуюсь его про меня мнением: если он держит меня за идиотку - тем лучше. Четвертое - они знают далеко не все, более того, они знают очень мало. И главное - пока они не бьют, мы сильнее...

Ему надо было доказать, что я знала о готовящейся измене родине (побег), и это давало возможность привлечь меня по статье о доносительстве, а мне надо было выяснить - по беглецу или за рукопись меня дернули, если по беглецу, то с концами он смылся или пойман, а если пойман - молчит или колется? Когда мы расставались, я знала все, он же остался при нулевой информации.

Как я радовалась тогда, как хвасталась, как гордилась, как помчалась в тот же вечер все рассказывать лучшим друзьям (они же и друзья беглеца), благо от нашей с Синявским Поварской - до их Девятинского рукой подать...

Мы с Синявским очень во многом похожи - наверное, это играет в нас общее футуристическое начало: когда-то мы оба прошли через школу Маяковского, и во вкусах поэтому мы расходимся крайне редко - например, он любит Достоевского, а я - нет. К тому же мы с ним крутим многолетний производственный роман, рассуждая о своих литературно-издательских гайках и за утренним кофе, и на лагерном свидании, и на подножке трамвая.

Но это - вкусы, а характеры-то у нас все-таки разные, что сказались, например, в ситуации допросов. Для Синявского допрос - это была тяжелая, неприятная и опасная работа, когда он ждал, что его будут ловить на противоречиях и чтоб не сказать чего-то лишнего (на нем же висела отправка еще нескольких авторов)... А для меня допрос -

это почти что творческий процесс с его радостями (и смертной бездны на краю...)

Я мчалась на допрос, как, простите, на шахматный турнир, как в разведку, рассчитывая, что вот сейчас не следователь из меня что-то вытрясет, а я из него сейчас постараюсь что-то вынуть. Не я проговорюсь, а он проговорится. Если мне удастся толково себя вести и заманить несчастного в свои гнусные сети. Он проговорится даже своими вопросами, своим интересом к той или иной детали он многое даст мне понять! Потому что была у меня четко разработанная теория: я считала, что мы, интеллигенты, сильнее кагебешной сволочи и сильнее в принципе очень многих - на вот этом самом разговорном поприще. В конце концов - зря мы ночами напролет трепались на кухнях и положили столько времени на болтовню? Естественно, я должна его переговорить, а не он меня.

К тому же - мне в острой ситуации интересно, а Синявскому - нет. Вот в этом разница между нами. Я иду навстречу ветру, и пусть на меня дует...

Была у нас домашняя любовь, домашняя наша страсть - это Высоцкий. Когда-то Синявский преподавал в Школе-студии МХАТ русскую литературу XX века и Высоцкий был его студентом. И однажды, после экзамена, третий курс Высоцкого столпился вокруг Синявского и кто-то сказал: "Андрей Донатович, до нас дошел слух, что вы любите блатные песни. Позовите нас в гости, и мы целый вечер будем вам петь!" Они явились всей группой, молодые и красивые, устроили чрезвычайный галдеж и очень хорошо пели. Я их поила кофеом и невероятно любила.

К следующему их визиту я помчалась по городу, собрала какие-то деньги и купила магнитофон - чудовищный ящик "Днепр-5", - исключительно ради Высоцкого. Своих песен у Высоцкого тогда еще не было, пел он чужие: городской фольклор, блатные, пел замечательно, еще не хрипел, и был его голос ангельским, с дрожащей слезой где-то вот тут вот, в верхах, и когда он пел "Постой, паровоз, не стучите, колеса, кондуктор, нажми на тормоза" - вот в этих самых тормозах такая трепыхалась пронзительная вибрация, что, ах!, и маменька родная, и одиночка, и одиночество, а впереди у нас Абрам Терц и прокурор, и судьи с адвокатом, и Высоцкий этого, естественно не знает, но как чуёт что-то

и поет-поет, словом – не стучите колеса... А потом он пел у нас свои первые песни, рассказывал препотешные байки и вообще весь ранний Высоцкий записывался у нас, в нашем доме, и все это были оригинальные записи.

И когда пришли с обыском, то в конце - обыск шел три дня - решили забрать пленки. Вот тут я заверещала, что к делу Синявского это отношения не имеет, что это мой магнитофон, это мои игры, это мои пленки, и я их не отдам. Мне сказали, что - нет, что они их заберут тоже – "для характеристики обстановки". И унесли. А у нас было две комнаты. Одна в большой коммунальной квартире, а вторая – в этом же подъезде в подвале. Поэтому обыск делали разные бригады: наверху более либеральной, которая оставила кое-какие книжки из западных изданий, внизу - более принципиальная, выгребавшая все. Но... кагебешники допустили ошибочку: они не сделали сразу опись изъятого, а когда я попросила опись, отмахнулись: у нас, мол, не пропадет...

И вот я на каждом допросе напоминаю: "где опись, – говорю, – где опись изъятого имущества?" В конце концов месяца через два протягивает следователь Пахомов мне бумаги: вот. Я в листы смотрю, лицом мрачнею и говорю: "Опись неполная". - "То есть как неполная?" "Почему в этой описи нет трехтомника Пастернака?" А они-то его и не изымали, он был наверху, - то есть, возвожу я на них напраслину. И скандалю, нервничаю, где Пастернак? Пахомов: "Этого не может быть!" Потом уже Синявский рассказывал, что у него был отдельный допрос по этому трехтомнику, не давал ли кому-нибудь почитать. "Нет, – говорит, – дома стоял". А я все свое: "Где трехтомник?" И пишу заявление о том, что КГБ, то есть ребята, которые делали обыск, меня обокрали.

Конечно, я поступила дурно, У лейтенантов были, наверное, некоторые неприятности. Но... они на зарплате – я на войне. Кончилось тем, что я согласилась забрать заявление, если они мне отдадут пленки Высоцкого. Я сказала: "Я понимаю, что ваш сотрудник, который нагрел на этом руки, уйдет в глухую несознанку, ибо если он признается, ему кранты. Поэтому трехтомник вы мне это не вернете. Но – если вы мне отдаете пленки Высоцкого, я забираю заявление.

В этом месте рассказа однажды раздался недоуменный вопрос одного слушателя: то есть, с ними торговаться можно было?

– Еще как, – сказала я, – но это надо было понять. Это не сразу дается, такое понимание, что их можно заставить делать то, что вам надо. И они будут делать то, что вам надо. Только надо не бояться. Не бояться! - вот единственное условие. Но к сожалению в большинстве случаев - соотношение между советским человеком и ка

гебешником - как между кроликом и удавом. Тот посмотрит, а этот уже готов. Будьте сами, как три удава, и с вами ничего не сделают. Я всегда ненавидела в советском человеке эту готовность: сдать Лубянке.

Когда я излагала этот эпизод нашему близкому другу, с малолетства борцу за права человека, Ю. Вишневской, она велела про этот шантаж никому не рассказывать и долго доказывала мне про равные у всех людей права. Я же напоминала ей о заповеди "не убий", которая нарушается во время войны и той и другой стороной. У вас началась борьба за права человека – и это прекрасно, а у меня шла война с КГБ, и если следователь Пахомов считал себя вправе пугать меня немедленным арестом и заключением в детдом нашего восьмимесячного сына, то на такое я могла отвечать чем угодно. В конце концов он вторгся в мой дом, а не я в его. На войне как на войне и нравственные законы мирного времени на эту ситуацию не распространяются.

Но был у меня еще один расчет, когда я откровенно хулиганила во время следствия. Я точно знала, что пока Синявский и Даниэль сидят в Лефортовской следственной тюрьме, волос с их головы не упадет. Шла борьба исключительно интеллекта, нервов и выдержки. А старые лагерники приговаривали: "Тихо, тихо, ну зачем вы ведете себя так вызывающе? Ведь это все отразится на них!" – будто не ощущая, что времена изменились.

А я понимала, что на "них" это отразиться не может по той простой причине, что "им" предстоит процесс, и процесс будет шумный, не исключено, что открытый, и к суду их будут старательно готовить, и постараются, чтобы они выглядели как можно приличнее, и, значит, я могу делать пока что, что хочу. Мне потом рассказывал Синявский, что

следователь Пахомов много раз угрожал ему моей печальной судьбой:

– Что она себе позволяет?! Это плохо кончится! Когда-нибудь, уж поверьте мне, накостылят ей по шее!

– Вы накостыляете?

– Почему непременно мы? Кто-нибудь из народа...

Я когда-то хорошо играла в шахматы и усвоила, что в этой игре выигрывает тот, кто умеет просчитать на большее число ходов вперед - только и всего. И все мои демарши никогда не были просто эмоциональным взрывком. За ними стоял достаточно холодный расчет, который в конце-концов оправдался. Мне требовалось, пока Синявский с Даниэлем в полной безопасности и хорошо упакованы в Лефортове, - отвоевать какое-то пространство и перманентным наглым скандалом (плюс западные связи, комитеты в защиту, шмомитеты в поддержку) довести кагебешников до такого состояния, чтобы потом, после процесса, они вступили бы в переговоры. Я знала, что ОНИ придут торговаться, они придут покупать наше молчание, наше спокойствие.

И когда мы с Ларисой Богораз (тогда женой Даниэля) одевались в гардеробе судебного присутствия после оглашения приговора, к нам подошел неприметный молодой человек, представился журналистом, сказал, что государство сегодня не воюет с женами и детьми и что есть на свете могущественные люди, которые хотели бы с нами встретиться, обсудить нашу жизнь и как нам дальше ее обустроить. От кого бы ни исходило такое предложение, выслушать его всегда интересно и полезно, поскольку оно несет определенную информацию. В назначенный день и час Лариса пришла ко мне, и неприметный молодой человек на черной Волге отвез нас по адресу Кузнецкий 24, приемная Комитета Государственной Безопасности.

Так в мою жизнь вошел полковник Бардин. Он еще раз подтвердил, что КГБ не воюет с женщинами и детьми, и привел в пример жену расстрелянного в 62 г. Пеньковско-го, которой они помогли сменить фамилию, адрес, работу и удачно выйти замуж. Гордо вскинувшись, Лариса Богораз заявила, что, наоборот, она хотела бы сейчас взять фами-

лию Даниэля, а я в тот момент поняла, что мои раскладки по поводу КГБ оказались правильными, и, как раньше нашей задачей было, чтобы мужики сели возможно позже, так и теперь надо было вывести их на свободу пораньше, постараться сократить им срок, не поступившись при этом главным, а может быть, и единственным достоянием Синявского и Даниэля на этом процессе – непризнанием вины.

После нескольких встреч с Бардиным наши пути с Ларисой Богораз начали расходиться. Я считала, что наше дело заниматься освобождением Синявского и Даниэля. Лариса Богораз считала, что надо заниматься освобождением Родины. Можно сформулировать иначе: я считала, что через освобождение Синявского и Даниэля можно идти к правам человека, Лариса Богораз, – что через права человека можно идти к освобождению Синявского и Даниэля.

Я полагала, что мы с ней свое дело уже сделали. Мы изгнали из нашей среды стукача Хмельницкого, посадившего однажды двух своих лучших друзей. Мы хорошо провели первый этап дела Синявского-Даниэля – следствие, Хорошо вели себя на суде: довольно толково записали весь процесс. (Потом наши записи по инициативе ленинградского писателя Бориса Вахтина соединились с его записями и так была создана вышедшая на Западе "стенограмма" процесса.) Показали КГБ, что мы ничего не боимся и создали образ "непримиримых и отчаянных" жен, способных на что угодно. И теперь наше дело отойти в сторону.

Тем более, что в дело защиты Даниэля и Синявского начинала входить общественность, и в этом процессе мы гораздо больше сможем сделать, если будем стоять в позе плачущих женщин. Мы должны уйти из героинь в серые кардиналы. И не нам получать цветы из рук иностранных корреспондентов... Ах, не нам!

Может быть, в этих рассуждениях о способах и формах ведения войны сказалось мое глубокое отвращение к советской привычке бросать в бой все силы до полного уничтожения: "и как один умрем в борьбе за это!" Мне ближе западный способ сражаться, когда воинская часть после боя уходит на отдых, а ее место заступает свежий полк.

Внешне же, если играть "черными", то, с точки зрения КГБ, это должно было выглядеть как результат их угово-

ров. Другими словами, я хотела по хорошей цене продать им воздух: наше, заранее рассчитанное и запланированное спокойное поведение.

С самого начала, буквально в первую же встречу с полковником Бардиным, я старалась внушить ему одну простенькую мысль, что впервые наступил момент, когда интересы КГБ и наши сошлись. У полковника отвисла челюсть: "То есть, как так сошлись наши интересы?" "А очень просто, – плела я свои хитрованцы, – до ареста мы много лет находились в позиции "сыщики-разбойники", когда наше дело было получше запрятаться, а ваше – найти и схватить. Во время следствия и суда ваше дело было расколоть, а наше – не струсить, не поддаться ни на угрозы, ни на обещания и отстаивать свою точку зрения. Но сейчас "все позади – и КПЗ и суд". И сегодня наше женское дело вернуть себе мужиков как можно скорее, а ваше – освободиться от дела Синявского-Даниэля. Вы, – говорила я полковнику Бардину, в этой истории похожи на проводника с громадной собакой. С одной стороны, собака вроде бы у вас на привязи. А с другой, она тоже тащит вас, куда хочет. В незапланированном вами направлении. В ваших интересах - чтобы Синявский и Даниэль как можно скорее вышли на свободу". Ибо, пока они сидят, вы будете иметь на Западе массу семейного счастья. Шум не затихнет". - "Покричат, перестанут!" – лениво отбивался полковник.

Синявский и Даниэль не признали себя виновными. Четыре дня упирались рогом, сидя в деревянном загончике скамьи подсудимых. Но была сказана Даниэлем в последнем слове одна фраза, которая дала повод для некоторого кривотолка: "Все, что я сказал, не значит, будто я считаю себя и Синявского святыми и безгрешными ангелами и что нас надо сразу после суда освободить из-под стражи и отправить домой на такси за счет суда..." Я понимала, что мой друг Даниэль сказал в ту минуту что-то не то, и сделал это исключительно из скромности. Той проклятой скромности, в традициях которой нас воспитывали и последствия которой мы не можем расхлебать по сей день. Друг мой Даниэль должен был сказать так: "Нет, мы светлые ангелы и мы требуем, чтобы нас отправили из этого зала домой на такси за счет суда!" И тогда журналистская гнида Ю. Фео-

фанов не смог бы в своем известинском отчете трактовать даниэлевскую риторическую фигуру как полупризнание Даниэлем вины. Даже КГБ, докладывая в ЦК об итогах этого дела, не посмел утверждать, что Даниэль что-то признал. А Феофанов – сука, говнюк засратый – посмел. И когда Даниэль, приехав в лагерь, узнал о феофановской статье, он написал протестующее письмо в "Известия", то есть сразу же вошел в конфликтную ситуацию и с этого началась его лагерная "раскрутка"...

Мой друг Даниэль был совершенно замечательный человек, но когда я спросила другого совершенно замечательного человека Кестутиса Йокубинаса - а он отсидел два срока, первый раз семь лет, второй - десять, – что в лагере самое трудное? он ответил, что самое трудное - это сохранить спокойствие. И если он чем-то гордится, так это тем, что ни разу не дал себя раскрутить, ни разу не позволил спровоцировать себя на бесполезную борьбу.

Между тем, в стране назревало правозащитное движение, и у меня появилось ощущение, что Синявский и Даниэль как живые люди забыты и становятся бесплотными символами. При этом один (в раскрутке) – хороший, а другой (в спокойствии) – плохой. И один известный правозащитник говорил мне так: " – Я практически не знаю ни Синявского, ни Даниэля. Но Даниэль своим поведением в лагере помогает нам здесь бороться, а Синявский – нет..."

Пока шли все эти игры, подоспело лето 67 года – время моего торжества, когда я поняла, что все мои прогнозы и расчеты оправдались и эта шахматная партия выиграна. И, вместе с тем, время моего поражения: я выиграла, но взять этот выигрыш не имею права.

Жарким летом 67 года меня пригласил полковник Бардин и сказал, что приближается пятидесятилетие советской власти, юбилей, намечается большая амнистия, и что под эту амнистию можно подвести Синявского.

– Но Синявский не напишет заявления о помиловании. Ибо не признает себя виновным.

– Это ничего, – ответил Бардин. – просить о досрочном освобождении можете вы - жена, а жена вправе не вникать в проблему виновен-невиновен. Так что, - говорит, - если

вы напишете, то Верховный Совет к амнистии это дело рассмотрит.

А я ему про то, что подобное заявление без разрешения Синявского я писать не могу. Надо посоветоваться.

– Неужто он будет против?

– Знаете, писатели – народ сложный. Вы его освободите, а он меня бросит! Нет, – говорю, – пусть уж лучше он сидит в лагере, зато я буду замужем, чем он на свободе, а я – брошенная жена. Нет, – говорю, – мне это невыгодно”.

Короче, получила я в тот год под это дело дополнительное свидание, а Синявский говорит: “–Если сумеешь сделать так, чтобы твое заявление было общим с Ларисой и мы бы вышли вдвоем с Даниэлем, – действуй. Но один я не выйду.

Надо сказать, что с Ларисой я разговаривала об этом сразу же после бардинского предложения. Ее позиция сводилась к формуле: – они обманут. Они заманят нас в переговоры, освободят Синявского, а Даниэль останется гнить в лагере.

Но полковник Бардин не обманул:

– Нет, – сказал он, – Марья Васильевна. Никакие ваши происки сообразить на двоих не пройдут. Мы согласны отпустить Синявского, но мы не отпустим Даниэля”.

– Как же так? – восклицаю. – Ведь Синявский – паровоз, и срок у него больше! И все на Запад шло через него, через Синявского. А Даниэль – фронтовик. Рука ранена. Пять лет.

– Не надо было бороться, сказал Бардин. – Вот Синявский ведет себя в лагере скромно, а Даниэль с нами все время скандалит. Если мы отпустим Даниэля, то это будет выглядеть, как то, что мы отступили, а они с Ларисой Иосифовной победили. А мы отступать не будем.

– Ну тогда это невозможно: один Синявский не выйдет: не дворянское это дело – садиться вдвоем, а выходить одному, да еще, если ты – паровоз”. Я не могу написать это заявление.

И вот тут мне этот полковник Бардин сказал, наверное, самые горькие слова, которые я слышала за все то время, что Синявский сидел. Он сказал:

– Ну хорошо, пусть все остается так, как есть, только, Марья Васильевна, вы одну вещь должны понять и запом-

нить навсегда: что сегодня вы оставляете мужа в лагере своими руками. Мы согласны его выпустить.

Следующий раз вопрос о досрочном освобождении Синявского встал в сентябре 70 года, сразу после выхода Даниэля. На этот раз по моей инициативе. Повстречавши родного полковника, я сообщила ему, что А.Д.Синявский написал в лагере книгу, которая уже на Западе, и, если он досидит до конца срока, то в день его освобождения со Франции выйдет его лагерная книга.

Шантаж! – скажут добродетельные правозащитники. Недостойное, омерзительное поведение! – скажут наши новые православные. Сотрудничество с КГБ! – скажет христианский писатель Вова Максимов. Ерунда, – скажу я им всем. Если не сдаваясь, не предавая свою (и его) единственную позицию неподсудности литературы, можно вывести человека на свободу, то почему бы это не сделать?

Это было для КГБ некоторой неожиданностью. Какая книга? Как сумел передать?! А я им отвечаю, я им говорю, что это моя забота, а вам я могу сообщить одно: она уже в Париже. Лежит в сейфе и ждет. Выйдет 8 сентября 72 года. И что вы тогда сделаете? Второй срок наматаете? Мало вам одного процесса Синявского-Даниэля? Или сделаете вид, что ничего не произошло? Сегодня у вас один способ обновить книгу – это выпустить Синявского досрочно...

Эффектно и красиво звучит: лагерная книга! Срабатывает стереотип не только у кагебешников, но у кого угодно: лагерная книга обязана быть книгой о лагерных страданиях и никому не придет в голову, что имелась в виду маленькая книжечка "Прогулки с Пушкиным", написанная Синявским, действительно, в лагере и присланная мне оттуда отрывками в письмах. И это единственное, что было у меня тогда в руках, единственное оружие (так выпьем за характер!)...

Итак, Синявский на свободе, два года живет под надзором, время от времени в нашу жизнь вторгаются чины, вопросы задают, интересуются, почему, говорят, у вас целый день пишущая машинка трещит? А мы что, отвечаем, мы ничего, живем тихо, чиним примус да про Гоголя сочиняем (вторая книга, начатая в лагере, – «В тени Гоголя»)...

Но я же понимаю, что словосочетание «лагерная книга», заброшенное когда-то в кагебешное сознание должно си-

деть там прочно и рано или поздно дать свои всходы. Они должны ее ждать и караулить – "лагерную книгу". И когда в 72 году Игорь Голомшток, наш друг и герой дела Синявского-Даниэля (а он совершил невероятный по тем временам поступок: он первый в стране отказался давать показания в открытом политическом процессе), уехал в Лондон и занялся там изданием уже третьей книги Синявского, разговоры об этом мы с Голомштоком вели по телефону открытым текстом. Естественно, кагебешники подслушивали, естественно, затрепыхались. «ОНА ЛАГЕРНАЯ. ПРО УЖАСЫ ТЮРЬМЫ!» и сделали совершенно естественное для 73 года предложение: уезжайте.

Я уезжать не хотела, этот отъезд был нужен всесильному ведомству, а не мне, они здесь выступали инициаторами и просителями, а в такой ситуации мне очень легко было куражиться и диктовать условия: в моем кресле, с моей библиотекой, коллекцией, со всем своим скарбом, да я вам половой тряпки не оставлю! – сказала я полковнику Бардину, хорошо понимая, что в нашей стране законов и правил не было никогда, и кто смел, тот и съел. Через таможду мы проходили почти что на посольском уровне, впрочем, подобная же услуга была оказана государством и семье Солженицына...

А третья книга? Она была в самом деле лагерная, называлась «Голос из хора» и открывалась такими словами: «Моей жене Марии посвящаю эту книгу, составленную едва ли не полностью из моих писем к ней за годы заключения. 1966-1971».

2

Наверное, шантажировать Лубянку безнравственно, но я страстно люблю эти три истории. Я себе в них нравлюсь. Я себя ощущаю в них почти что Михаилом Талем, который всегда играл непредсказуемо и авантюрно.

И вот однажды я рассказывала про досрочное освобождение Синявского пушкинской программой "Пятого колеса". Дело было на Черной речке. Сияло солнце. Жужжала камера. Я почти декламировала эти перипетии, и вдруг, как гром с ясного неба, на меня падает оценка слушателя. Оказывается, с точки зрения некоторых деятелей русской

культуры, я не *обыграла* КГБ в этой партии, а я с ним *сотрудничала*. Так квалифицировал эту ситуацию неистовый Вова Максимов.

А за Максимовым – Феликс Светов... Может быть, я очень плохая. Может, я моральный урод какой. Но я искренне не понимаю, что его возмутило в истории с досрочным освобождением Синявского? Почему он в "Русской мысли" так негодует о моем, "преступном сговоре с КГБ"?

Я разговаривала с ГБ хорошо или плохо? Где-нибудь сдалась? Что-нибудь уступила? Где тут сговор? Какие правила поведения я нарушила? Ах да, изящный реверанс – "я с ними врать на одном поле не сяду"? И никому не приходит в голову, что частенько за этой добродетелью стоит просто трусость, боязнь вступить в спор, и как бы чего не вышло. Но чтобы выиграть турнир, надо как минимум сесть за одну доску. А на самом-то деле я одну вашу ленинско-сталинскую регламентацию нарушаю, один ваш закон: я не скромная, я – смелая и этого вы мне простить не можете.

Другой тезис Светова – это о лапше на уши, которую я могу вешать только молодняку, а не нам, мол де, опытным и прошедшим... И кто мне поверит?

Светов прав. Поверить трудно. Я сама, тихая сегодня старушка, с трудом. Тем более, что допрос (а любая встреча с КГБ – допрос) – это почти как с милым в койке: один на один, без свидетелей. Но... иногда что-то приоткрывается, и вот вам протокол от 23 ноября 65 года (допрос начат в 10 час.30 мин – окончен в 12 час. 30 м):

Вопрос: Расскажите, что вам известно о написании вашим мужем – Синявским А.Д. произведений, которые издавались за границей под псевдонимом "Абрам Терц"?

Ответ: Как мной уже показано на предыдущем допросе, я знакома с некоторыми произведениями, изданными за границей под псевдонимом Абрам Терц. Но при этом мне не было известно, что их автором является мой муж – Синявский А.Д.

Вопрос: Следствием установлено, что вы в курсе деятельности вашего мужа по написанию и негласной передаче за границу ряда произведений, которые затем были изданы под псевдонимом Абрам Терц. Почему вы скрываете правду?

Ответ: Если мой муж заявляет, что я в курсе его писа-

тельских дел, то мне, как верной, домоостроевской жене, остается только подтвердить его показания, независимо от того, насколько они близки к истине.

Вопрос: Ваш муж – Синявский А.Д. на одном из допросов показал: "...Моя жена впервые узнала от меня о том, что мною написано и уже передано для публикации (...) В последующем я не скрывал от жены, что продолжаю работать (...) Все эти произведения я читал ей вслух..." Так это было в действительности?

Ответ: Если мой муж утверждает, что это было так, то мне остается только подтвердить его показания.

Вопрос: Процитированные вам показания вашего мужа соответствуют действительности?

Ответ: Если мой муж утверждает, что это было так, то мне остается только подтвердить его показания. То, что сказал муж, для меня является правдой.

Вопрос. Вы можете дать более ясный ответ на вопрос о том, соответствуют ли действительности показания Синявского?

Ответ: Более ясный ответ я дать не могу.

Вопрос: Желаете ли чем-либо дополнить свои показания?

Ответ: Нет.

Допросил ст.следователь следственного отдела КГБ при Совете министров СССР подполковник Пахомов (Уголовное дело N 291, т.3, стр.71-73)

Бедный Пахомов! Бедный-бедный Виктор Александрович! Два часа сидеть перед этой наглой тварью, чтобы в результате поймать несколько строчек, из которых лезет откровенное издевательство! Если эта сука (надеюсь, читатель понимает, что здесь я смотрю на себя глазами противника) заставила несчастного следователя внести в протокол такие формулировки, то можете себе представить, что она ему на словах наговорила... Мне рассказывала недавно Лариса Богораз, что однажды Пахомов прибежал на ее допрос к следователю Кантову и слезно просил: укройте, говорит, вы свою подругу, она же черт знает что несет на допросах! Я из-за нее курить начал... А зачем, спрашивается, курить, если в тот раз я на вопрос об особенностях личности Синявского всего-навсего-то и ответи-

ла, что он любит зверей и ненавидит негодяев (там же, стр. 75)?

У всех историй, которые я сегодня рассказываю, есть свидетели, ибо при всем моем самомнении и при всей уверенности, что я права, у меня тоже случалась потребность выслушать возражения, или чтоб одобрили, потому что ласковое слово даже кошке приятно. Многие друзья и знакомые знали детали этих историй, а некоторые, немногие, знали их целиком, во всех подробностях, со всеми нюансами. Выкатив глаза на обе щеки, слушали про мои выходы и допросы и Алик Гинзбург, и Наталья Светлова (Солженицына).

Частенько, разговаривая с полковником Бардиным и говоря ему достаточно оскорбительные вещи, я думала о том, как он докладывает о наших беседах своему начальству. Сегодня, с раскочериванием некоторых документов, мне стало что-то проясняться. Интересно, сколько было инстанций между Бардиным и Андроповым и как трансформировались мои идеи и слова на пути этого испорченного телефона?

И вот у меня документ (из пресловутой "секретной папки") о досрочном освобождении Синявского. Андропов пишет в ЦК письмо. Привожу его дословно, вставляя кое-где (в скобках) свои реплики.

«Осужденный Верховным судом РСФСР на 7 лет лишения свободы литератор Синявский А.Д., автор книг антисоветского содержания, публиковавшихся на Западе под псевдонимом "Абрам Терц", отбыл к настоящему времени более двух третей наказания.

Наблюдение за Синявским показывает, что он, находясь в исправительно-трудовом учреждении, соблюдает установленный режим, отрицательно относится к попыткам отдельных заключенных вовлечь его в антиобщественную деятельность и своим поведением фактически не дал новых поводов для использования его имени за рубежом во враждебных нашему государству целях.

Никаких предосудительных поступков не допустила и его жена Розанова-Кругликова, проживающая в г.Москве. (Я всегда говорила, что КГБ это заурядное и весьма халтурное советское учреждение: под самым их носом из моих рук

прямо в руки нашей ненаглядной французинки Элен ушла стенограмма процесса, а они и не заметили!)

Вместе с тем Синявский продолжает стоять на позиции непризнания своей виновности и отрицания антисоветского характера своих действий, по-прежнему считает суд над ним незаконным. Однако с его согласия (никакого согласия Синявского не было, он освободился совершенно для себя неожиданно, чему есть свидетели: зеки, собиравшие его на этот этап) жена Синявского обратилась с ходатайством о помиловании (вранье: заявление было о *досрочном освобождении*), избрав в качестве мотива трудность воспитания малолетнего сына.

Рассмотрев это заявление и проанализировав материалы, а также принимая во внимание, что срок наказания Синявского истекает в сентябре 1972 года, полагаем возможным положительно решить вопрос о сокращении ему в порядке помилования наказания на 1 год и 3 месяца.

Такая мера, по нашему мнению, способствовала бы отрыву Синявского от антиобщественных элементов и может положительно повлиять на его дальнейшее поведение.

Проекты постановления ЦК КПСС, указа Президиума Верховного Совета РСФСР по этому вопросу прилагаются.

Просим рассмотреть.

Ю. Андропов, Р. Руденко, А. Горкин.

12 мая 1971 года.»

Здесь нет ни слова, конечно, ни о лагерной книге Синявского, ни о моем шантаже. Но подумайте сами – мог ли главный вертухай страны признаться своему начальству, что из его ведомства, из лагеря, из страны, в Париж! такая утечка? Зато (слава Богу!) сохранилась формулировка моего заявления о непризнании Синявским вины и нашей квалификации суда над ним как незаконного. Друзья хватили меня за руки: "что вы пишете? после ваших заявлений Синявского не только не освободят, но еще срок добавят!"

Мне удалось вывести Синявского из лагеря на 15 месяцев раньше срока. Ничем при этом не поступившись. Если бы сейчас мы снова шли через наше дело, я повторила бы все слово в слово. Шахматную партию по освобождению человека из лагеря я выиграла.

Но Андропов все равно оказался сильнее меня. Может

быть, он лучше знал человеческую природу и понимал, что если с Синявским не справились чекисты, то самое разумное отдать его на съедение его же эмигрантскому брату-диссиденту.

И вот однажды, под Рождество 1975 г. (после нашего ухода из "Континента") русский писатель В. Максимов сказал русскому писателю А. Синявскому:

– Я вас уничтожу! Я сделаю так, что сам Сахаров из Москвы объявит вас агентом КГБ.

– Как же так? – удивился Синявский. – У меня же все-таки есть кое-какая биография.

– А старые заслуги не спасают! – услышали мы родной голос советской истории.

Это были первые раскаты. С той поры регулярно в "Континенте" появлялись те или иные намеки на кагешное прошлое, настоящее и будущее супругов Синявских. И не только Синявских – и Копелева, и Эткинда и др. Максимов с такой уверенностью рассуждал об агентах КГБ, будто он руководил отделом кадров этой фирмы и составлял общую платежную ведомость. Мы привыкли к этим инсинуациям, рассматривая их как проявление нашей общенациональной болезни, когда родное стадо дружно блеет: "КГБ-э-э", "КГБ-э-э". И считали это личным творчеством Максимова.

А ведь мы с Максимовым почти что родственники. Нас обслуживал один и тот же полковник, рыжий полковник Бардин, с искалеченной на фронте рукой. Наверное, он был неплохой мужик, этот, приставленный к Союзу писателей, полковник Бардин. Во всяком случае, он рассказывал Даниэлю, когда три дня допрашивал последнего перед арестом (за что мой любимый друг его иначе как «рыжая жопа» не называл, и это было совершенно несправедливо), что помогал Максиму печататься и, между прочим, ввел его в "Октябрь" (тогда еще кочетовский). Да и в очерке Булата Окуджавы ("Родина", 1991, N4) тоже есть кое-что об этих отношениях – настолько близких, что наш общий полковник Бардин Максимова даже на дому навещает, дабы убедиться в бедственных жилищных условиях писателя и помочь ему с квартирой. Интересное кино: одному с каге-

бешником можно, другим – ни-ни. Каждому своя презумпция: Синявским – виновности, Максимову – невиновности.

А как же все-таки документы? Ходят слухи, что в секретных папках ЦК найден потрясающий на Синявского компромат! Не будут же Максимов и Буковский ни с того, ни с сего... Увы, будут. Заглянем в рассылаемые по газетам документы. Их всего три – 68-го, 71-го и 73-го года.

В каждой андроповской бумаге сказано, что Синявский не сломлен: "Наблюдение за его поведением в исправительно-трудовом лагере показало, что он в последнее время все чаще размышляет над своей дальнейшей судьбой, хотя по-прежнему отрицает свою вину" (1968), или: "продолжает стоять на позиции непризнания своей виновности" (1971), или: "остается на прежних идеалистических творческих позициях, не принимая марксистско-ленинские принципы в вопросах литературы и искусства" (1973). Где же компромат?

А вот где: "В отличие от Даниэля и членов его семьи, Синявский и его жена не принимают участия в каких-либо антиобщественных акциях" (1968), или: "отрицательно относится к попыткам ... вовлечь его в антиобщественную деятельность" (1971), или: "следует совместно выработанной по возвращении его в Москву линии поведения, ведет уединенный образ жизни" (1973).

Да-а-а, нехорошо получается. И ведь, главное, всю дорогу так: однажды возвращается Синявский из Института Мировой литературы чрезвычайно веселый. Что такое, спрашиваю. Да вот, говорит, встречаю я Вадима Кожинова по прозвищу "штопаный нос", а он меня на тайное собрание демократов-ленинцев приглашает. Оттепель сейчас, говорит, надо силы собирать, наши, левые, ревизионистские. А когда я отказался, давай Кожинов меня укорять: мы, – говорит, – пойдем по лагерям, а ты, Андрей, отсидишься в башне из слоновой кости.

Да и про линию поведения Андропов все правильно написал: действительно, она как совместно выработанная: мы вам советуем жить тихо, – сказал лубянский надзор. А я вообще человек тихий, кабинетный, – честно ответил Синявский. Знаем-знаем, – был отзыв, – в тиши вашего кабинета были написаны "Любимов" и пасквиль на соцреа-

лизм... А что рак-отшельник Синявский должен был ответить? Нет, я буду с вами бороться до последней капли крови? И тогда за эту пошлость Буковский поставит ему хорошую отметку по поведению?

Не сразу понимаешь, что андроповские письма в ЦК если и документ, то исключительно ихней, партийно-руководящей жизни, это их танцы, которые к нашей реальности имели весьма приблизительное отношение. Это всего-навсего отчет партийного прораба по начальству, с вынужденными признаниями о невыполнении плана ("Синявский остается на прежних позициях"), с приписками несуществующих заслуг ("используя авторитет Синявского, через его жену Розанову удалось воздействовать на позиции Даниэля и Гинзбурга, в результате чего они не предпринимают попыток активно участвовать в так называемом "демократическом движении" (1973) – что такое эти слова если не чушь малограмотного в диссидентских делах ведомства, ибо как раз в это время Гинзбург начинает работать над созданием Солженицынского фонда, т.е. его активность возрастает), но и с очень интересными рабочими разработками.

Дорого стоит, скажем, такой абзац: "Принятыми мерами имя Синявского в настоящее время в определенной степени скомпрометировано в глазах ранее сочувствующей ему части творческой интеллигенции. Некоторые из них, по имеющимся данным, считают, что он связан с органами КГБ" (1973). Так прямо и написано: *"принятыми мерами"*. Ура! Наконец-то я вижу откровенное признание Лубянки в распространении о Синявском дезинформации. Так вот откуда столько лет дул на нас ветер, подхваченный "Континентом"! Я ни в коем случае не хочу сказать, что Максимов получал задания непосредственно от Андропова. Боже, упаси! и более того – когда наш друг профессор Эткинд не раз пытался убедить меня в том, что Максимов работает на ГБ, я всегда возражала ему так: дорогой Ефим Григорьевич! Максимов не работает на КГБ. Максимов просто сволочь, а это совсем другая профессия.

И вдруг вокруг этих казенных писулек разворачивается детектив: в парижской газете "Русская мысль" В.Буковский, рассказывал о своей работе в-президентском архиве

так: "попасть туда невозможно, а получить бумаги можно только с разрешения Ельцина. Так я ознакомился в архиве с кучей документов, касающихся правозащитного движения. Среди них бумаги ... по делу Синявского и Даниэля, в частности о досрочном освобождении Синявского и об обстоятельствах его выезда за рубеж" (РМ,31.7.92).

Мне тоже стало интересно, обратилась я в архив, получила пачку разных бумаг, а письмо Андропова о нашей эмиграции не дают: не рассекречено, говорят, не имеем права. Но буквально через неделю-полторы после отказа в израильской газете "Вести" публикуется это письмо в *факсимильном* воспроизведении, что должно гарантировать его несомненную подлинность. А еще через две недели в одной из московских газет мне дают подборку тех же бумаг, в которой присутствует и это нерассекреченное письмо, но... смотрю я на него и глазам не верю: вроде бы то, но и не то..., исходящий номер тот же, да и подпись андроповская тюк в тюк, а документы разные: один – на двух страницах, другой – на одной... "Пропали" три абзаца: про верность Синявского своим принципам, про интерес к Синявскому иностранных издательств и андроповские расчеты, что Синявский в эмиграции "потеряет общественное звучание"...

Я опять в архив, а мне в ответ Рудольф Пехоя бумагу:

«Председателю Специальной комиссии по архивам при Президенте Российской Федерации М.Н. Полторанину

ДОКЛАДНАЯ ЗАПИСКА

В связи с обращением в специальную комиссию по архивам при президенте Российской Федерации Синявского А.Д. и Розановой М.В. в Роскомархиве проведена экспертиза Записки Председателя КГБ СССР Андропова Ю.В. в ЦК КПСС о возможности выезда Синявского А.Д. за пределы СССР (N 409-А от 26.02.73).

Указанный документ является подделкой, выполненной с помощью ксерокса, и представляет собой сокращенный вариант подлинной записки N 409-А от 26.02.73. Из копии подлинного текста вырезаны угловой штамп бланка КГБ, первый, второй, третий, шестой, седьмой, девятый абзацы, подпись, вырезки склеены и отсняты на ксероксе. На ксе-

рокопии явно видны следы склеивания и неровности, оставленные при разрезании.

Подлинная записка N 409-А от 26.02.73 хранится в фондах Архива Президента Российской Федерации. Документ был представлен в Специальную комиссию по архивам при Президенте Российской Федерации для рассекречивания. Специальная комиссия приняла решение сохранить гриф секретности. (Протокол N 14 от 22.07.92)

Приложение: Копия с подлинной записки N 409-А от 26.02.73 на 2 л.

Ответственный секретарь Специальной комиссии по архивам при Президенте Российской Федерации Н.А.Криво-ва

8 декабря 1992 г.»

– Этого не может быть, так не бывает! Это есть, я вижу, но все равно этого не может быть, подделка века! – твердил, сравнивая подлинник и фальшивку, архивный маньяк Арсений Рогинский, человек, помешанный на точности воспроизведения и научном анализе языка документов.

– Я никогда не поверю, что Володя Буковский мог такое сделать! Это не он подделал! – убеждал нас и себя член комиссии по рассекречиванию Михаил Федотов.

– Что же это такое? Я так ему доверял! Я его даже домой пригласил... – растерялся Полторанин.

– Выпивали? – игриво осведомилась я, пользуясь своими возрастными привилегиями.

– Да нет, совсем чуть-чуть, – зарделся собеседник...

Я не хочу сказать, что именно Буковский щелкал ножницами вокруг андроповской цидулки: даже мне, уже много чего повидавшей в эмиграции, невозможно в это поверить. Но еще меньше я могу допустить, что редактор "Вестей" Эдуард Кузнецов, человек на зарплате, решился на такую подделку: все-таки – риск. Всего приятней было бы обвинить в этом Максимова, но у того алиби: по редакциям московских газет Максимов рассылал полный текст; не такой же он опереточный злодей, чтобы по Москве рассылать подлинник, а по загранике фальшак. А впрочем...

Короче говоря, не мое это дело – вести следствие про клей, ножницы и ксерокс, а дело мое позаботиться о дальнейшем, и вот в этом рассуждении пришлось отправить письмо нашему президенту:

Уважаемый Борис Николаевич!

В интервью газете "Русская мысль" (Париж, 31.7.92) В.Буковский заявил, что в президентском архиве, где "получить бумаги можно только с разрешения Ельцина", он обнаружил документы, имеющие отношение к делу Синявского-Даниэля.

11 сентября 92 г. в израильской газете "Вести" с целью дискредитации А.Синявского в искаженном, фальсифицированном виде (из двух страниц документа была смонтирована одна) было опубликовано письмо Андропова в ЦК КПСС, вынесенное Буковским из Вашего архива. Так как документ этот не был рассекречен и никому не выдавался, установить подделку удалось чисто случайно.

А теперь вопрос: сколько еще таких документов в руках у Буковского и как он будет ими распоряжаться? Если один документ был подделан, где гарантии, что в погоне за сенсациями или для сведения личных счетов не будут подделаны другие?

Во избежание дальнейших злоупотреблений мы настаиваем, чтобы нам были выданы из президентского архива копии всех документов по делу Синявского-Даниэля.

С уважением А.Синявский

М.Розанова

21 декабря 1992 г.

Вот и все... Но я тоже хороша: как легко втянулась в предложенную мне ситуацию и начала доказывать очевидное: не верблюды. Вместо того, чтобы сказать: подите прочь, бесстыдники, на что хвост подымаете? На дело Синявского-Даниэля, из которого вы вышли как, простите за стилистическую вольность, русская литература из гоголевской шинели? Откуда у вас сегодня такое стремление плюнуть в свое прошлое? Откуда у вас такая вера в КГБ и преданность этой фирме? Как могло случиться, что слово Андропова стало вам дороже слова Синявского? Почему вам так хочется, чтобы король оказался голым? Так хочется, что вы готовы на любой подлог. И почему даже у диссидентских принцев атрофировалась простая потребность: думать?

Но, отдав дань риторике, я вспоминаю, как впервые услышала это слово: "синявский". 1948 год. Я – первокурс-

нища. Цокаю каблучками по университетскому коридору и замираю перед филологической стенгазетой "Комсомолия": громадный заголовок: НА КОГО РАБОТАЕТ АНДРЕЙ СИНЯВСКИЙ? А дальше гневный текст про негодея Велимира Хлебникова, про курсовую о нем Синявского, и что совершенно ясно на кого – на американский империализм. Так начался этот бесконечный процесс выяснения – на кого же? – когда и комсомол, и КГБ, и Кочетов, и Кожинов, и прокурор Темушкин, и даже глава российского диссидентского дома Владимир Константинович Буковский – отказали подсудимому в главном и естественном праве – праве каждого человека оставаться самим собой.

«Независимая газета», 12-13 января 1993

■ **ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ "НЕЗАВИСИМОЙ ГАЗЕТЫ"**
В. Т. ТРЕТЬЯКОВУ

Уважаемый Виталий Товиевич!
Не могу понять, почему Ваша газета сочла возможным напечатать в сегодняшнем номере грубую клевету, не потрудившись даже позвонить мне, да и вообще как-либо проверить все это чудовищное нагромождение лжи, сообщенной Вам М. В. Синявской. Ее интересы во всей этой нелепой кампании легко понять: она действует по старинному принципу всех клеветников – "клеветайте, клеветайте, что-нибудь да останется". И вот уже российская пресса (а Вы не первый, до Вас ту же наглую ложь напечатала "Московские новости" 3 января) возбужденно осуждает какую-то мифическую "подделку" каких-то якобы секретных документов, в которых бедные Синявские якобы обоглаки. Главное достигнуто: обсуждается не суть документов, а обстоятельства их появления на свет. Но Вам-то зачем?
Все это было бы мне глубоко безразлично, если бы мое имя не прилетало к этой истории безо всяких оснований. Должен ли я теперь бегать след за Синявской-Розановой-Кружликковой по редакциям российских газет и доказывать, что я не верблюд? Да мне за тремя не узнаться, не говоря уж о том, что сама такая необходимость для меня оскорбительна.

В самом деле, объясните мне, на основании каких данных Вы сочли

возможным напечатать в газете такое серьезное против меня обвинение, как кража секретных документов и их подделка? Только со слов Синявской? Ну, а она откуда это взяла? Да выдумала. Она, как говорится, слышала звон от моей работе в архивах ЦК, ну и припела, не зная даже, что я никогда не имел допуска в президентский архив, а столь восторжествующий ее документ был расскрепчен и представлен в Конституционный суд задолго до моего приезда в Москву. Там я его и видел, так же как многие десятки людей.

Более того, я уже объяснил журналу "Новое время" еще в октябре, что не отправлял этот документ ни Максимоу, ни газете "Вести", да и вообще не слишком им заинтересовался, поскольку в эмиграции у Синявской-Розановой-Кружликковой вполне известная репутация и даже ее близкие друзья не станут отрицать, что она много лет "играла в сложные игры" с КГБ. Для нас содержание этого документа отнюдь не сенсация.

И, наконец, объясните мне, о какой подделке идет речь? Чтобы выяснить этот вопрос до конца, я позвонил Эдуарду Кузнецову в газету "Вести", т. е. сделал то, что, признайтесь, должны были сделать Вы до публикации, и тут я выяснил совсем забавную деталь. Редакция газеты "Вести" не только получила полный ("неподдельный") текст документа от Максимова, но и послала его Синявской-Розановой-Кружликковой, прося ее комментариев. А она, Синяв-

Газета «Куранты»

БУКОВСКИЙ ЖАДЕТ САТИСФАКЦИИ

из газет... из газет... из газет...

0000
КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
при Совете Министров СССР

ЦК КПСС
0623
260 EB 1973
1 место
ПОДЪЕМНО-ВОЗВРАТ
ОБЩАЯ ОТДЕЛ ЦК КПСС

26 " ~~сентября~~ 1978 г.

№ 409-А

Гор. Москва

Комитетом госбезопасности проводится работа по оказанию положительного влияния на досрочно освобожденного из мест лишения свободы СИНЯВСКОГО Андрея Доматовича, созданием обстановки, способствующей его отходу от антиобщественных элементов.

Принятыми мерами имя СИНЯВСКОГО в настоящее время в определенной степени скомпрометировано в глазах ранее сочувствующей части творческой интеллигенции. Некоторые из них, по имеющимся данным, считают, что он связан с органами КГБ. СИНЯВСКИЙ следует совместно выработанной по возвращении его в Москву линии поведения, ведет уединенный образ жизни, занимается творческой работой связанной с вопросами русской литературы XIX-века и историей русского искусства.

Используя "авторитет" СИНЯВСКОГО, через его жену РОЗАНОВУ-КРУДИНУ удалось в выгодном нам плане воздействовать на позицию ставших напавшими ДАНИЛИ и ГИНЗБУРГА, в результате чего она не предпринимает попыток активно участвовать в так называемом "демократическом движении", уклоняется от контактов с группой ЯНГА.

5 января 1978 года СИНЯВСКИЙ обратился с ходатайством к ОБИР УВД Мосгорисполкома с разрешением ему выезда вместе с женой и сыном, 1966 года рождения, во Францию сроком на 3 года по частному приглашению профессора парижского университета КЛОДА ФРИД.

Учитывая изложенное и принимая во внимание желание СИНЯВСКОГО сохранять советское гражданство, считали бы возможным не препятствовать выезду семьи СИНЯВСКОГО из СССР.

В последующем можно решать, целесообразно ли возвращать СИНЯВСКОГО в Советский Союз после истечения срока пребывания во Франции.

Просим согласия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ГОСБЕЗОПАСНОСТИ

Вот такую фальшивку опубликовала израильская газета "ВЕСТИ".
По темной полосе видно, что это композиция из двух страниц.

Открытое письмо

Л.И.Богораз

В редакцию газеты "Вести" и Михаилу Хейфецу, автору статьи "Новые грехи старого Абрама" ("Вести", 11.09.92)

Друзья привезли мне из Израиля "Вести" со статьей М. Хейфеца. Ну, думаю, сейчас узнаю свежие новости о моем давнем друге Андрее Синявском. Что еще натворил сегодня этот старый греховодник Абрам Донатович? Увы, острота оказалась далеко не первой свежести, проще говоря, тухлятина. Ее уже кушали и даже не один раз.

Почему же "Вести" уделяют столь несвежим новостям целую газетную полосу? Зараза разоблачения лжегероя Синявского докатилась наконец до Израиля? Правда, на этот раз уже по второму заходу. Когда разоблачительный зуд овладевает людьми, болезнь обычно не ограничивается срыванием маски с одной, отдельно взятой личности.

Хочу обобщить несколько важных, на мой взгляд, тем по существу статьи:

а) Когда это Синявский "вылезал в духовные наставники"? Разве это он провозглашал нравственные императивы, которые взахлеб, как новое Божественное откровение, повторяли бы соотечественники и современники? Разве это он сочиняет рецепты наилучшего устройства нашей страны? Разве его кандидатура в будущую мэру Москвы обсуждается?

Так куда же он высовывается? Как и всегда, он смеет свое суждение иметь.

б) В чем же состоит грех старого Абрама? Он в лагере держался особняком и после освобождения "вел уединенный образ жизни". Клянусь: и до громкого процесса он так же уединенно сидел в своем подвальчике да поскрипывал перышком - из этого уединения родились "Суд идет", "Любимов", да и все дальнейшие события, сыгравшие такую важную роль в отечественной истории и литературе.

Так вот что - неучастие в кипучей жизни муравейника вы, господа, и называете грехом Абрама. Но за Синявским числятся грехи тяжеле: он (и Розанова) пытаются и других - Даниэля, Гинзбурга - отговорить от дисси-

дентской активности, от контактов с "группой" Якира. И эти старания Синявского и Розановой, и их уединенный образ жизни, по-вашему, господа, есть прямое доказательство их сговора с КГБ: вот же документ - КГБ их за это хвалит, говорит о "совместно выработанной линии поведения". По-вашему, если мой собственный, свойственный мне образ жизни одобряет какой-то недалекovidный гебистский начальник, я должна изменить и образ жизни, и свой личный взгляд на группу Якира? А мои попытки отговорить моих друзей от "контактов" с этой группой - не иначе как свидетельство "совместно выработанной линии поведения". А может, я просто люблю моих друзей и считаю их способными на большее, чем активность в рамках группы Якира?

Я, помню, тоже отговаривала Иру Бейбурдскую и самого Якира от контактов с группой Якира, и тоже, к сожалению, не преуспела, и Петра и Ирку все же посадили. Так вот вопрос: мои попытки отговорить Петра Ионыча на Селигер рыбку удить - тоже productivity КГБ? Для такого предположения немало оснований: ведь я, действительно, в отличие от Синявского, подавала помилровку. У меня ни тогда не было, ни сейчас нет охоты ни объяснять, ни обосновывать свое право на поступок, на собственную позицию.

Наблюдается, мне кажется, неудивительное совпадение взглядов ГБ, М. Хейфеца и редакции газеты "Вести". Я вовсе не намекаю на "совместно выработанную позицию". Я имею в виду взаимным образом устроенные головы, в таких головах и порождаются взаимно подобные структуры мышления: "герой", "лидер", "группа", "духовный наставник", "общественно и политически значимая фигура" - вплоть до "не высовываться".

Об этом и речь, когда я говорю о несвежем кушанье, а далеко не об уже бывших публикациях на ту же тему. Молодые читатели, прежде чем отведают предлагаемое блюдо, приножайтесь получше: тухлая рыба опасна для вашего духовного здоровья.

Из газет... Из газет... Из газет...

Юлия Вишневская

МИША ХЕЙФЕЦ В СТРАНЕ ДУРАКОВ

*Всех, кто не в нашей компании,
я бы уничтожил!*

Абрам Терц. «Голос из хора».

Когда я была маленькой девочкой, говорила мне моя бабушка Циля-Мася Вульф-Эзеровна: один дурак способен насочинить такого, что и тыща умных не разберутся. И вот читаю я выбранные места из переписки сотрудника израильской газеты «Вести» М.Р. Хейфеца с друзьями и вспоминаю свою еврейскую бабушку, Царствие ей Небесное. Потому что у кого-кого, а уж у Михаила Рувимовича репутация среди его друзей вполне определенная. Кого ни спроси, ответ однозначный: «Миша Хейфец - хороший человек, но дурак - запредельный!» Или: «Миша Хейфец - человек порядочный, но идиот!.. клинический!!!» Ну, что М.Р. Хейфец - дурак, то это, как говорится, и ежу ясно. А вот насчет «порядочного» - это мы погодим маленько. Возможно, среди «идиотов клинических» такие проявления, как: (а) клевета; (б) подлог; (в) валение с больной головы на здоровую и подпадают под признаки порядочного поведения. Но ведь газета «Вести», насколько я понимаю, издается не в Стране Дураков, а, наоборот, в Стране Обетованной?.. В силу чего

М.Р. Хейфецу, дабы прослыть «порядочным», положено соблюдать по меньшей мере семь (если уж не все 613) заповедей - в том числе «не произноси ложного свидетельства на ближнего своего».

Вопреки процитированной выше заповеди, М.Р. Хейфец опубликовал в газете «Вести» грубо сфальсифицированную копию документа из архивов ЦК КПСС и присовокупил к ней собственный комментарий, который тексту означенного документа (даже сфальсифицированного) никак не соответствует: якобы почтенный профессор А.Д. Синявский - вовсе не профессор, а агент КГБ. И вот уже который месяц «тыща умных», известных и уважаемых в мире людей: профессор Е.Г. Эткинд, Юлиус Телесин Принц Самиздатский, легендарная женщина Лариса Богораз, трепетная женщина Майя Улановская и прочая и прочая - пытаются оного «одного дурака» урезонить. Мол, что ты, Миша, мы ж тебя знаем, ты же человек порядочный?.. И с чего ты взял, что Синявский такой-разэтакий?.. И где у тебя доказательства?.. А дурак, ясное дело, в восторге, что с ним умные люди полемизируют. А дурак капризничает и упирается. Захочет - опубликует полемику с собой «с сокращениями» и собственными дурацкими комментариями. Не захочет - полемику и вовсе публиковать не станет, а только дурацкие свои возражения на этот ихний неопубликованный текст: И с чего вы, говорит, взяли, что стукачи стучат? Стукачи, выламывается дурак, - это не те, которые стучат, а те, кого зачислили в стукачи члены редколлегии «нашего журнала "22"», а ежели вы с этим не согласны, то только потому, что Синявский ваш друг. Ибо никакой морали, кроме блатной, для меня, дурака клинического, не существует. Словом, у вас своя компания, а у меня своя, так чего ж вы меня своей кодлой пугаете?

Однако напомним, из-за чего разгорелся сыр-бор. По ходу издевательства над правосудием в Конституционном Суде Российской Федерации В.К. Буковский свистнул из секретных советских архивов письмо Председателя КГБ Ю.В. Андропова со следующим пассажем:

«Комитетом государственной безопасности проводится работа по оказанию положительного влияния на досрочно освободившегося из мест лишения свободы СИНЯВСКОГО Андрея Донатовича, созда-

нию обстановки, способствующей его отходу от антиобщественных элементов.

Принятыми мерами имя Синявского в настоящее время в определенной степени скомпрометировано в глазах ранее сочувствовавшей ему части творческой интеллигенции. Некоторые из них, по имеющимся данным, считают, что он связан с органами КГБ.»

Из процитированного выше отрывка явствует следующее: что, исходя из собственных интересов, ведомство Ю.В. Андропова предприняло определенные «меры», направленные на дискредитацию Синявского «в глазах ранее сочувствовавшей ему части творческой интеллигенции», и с этой целью распространило про вышеозначенного писателя заведомо ложные измышления. Только это (и ничего иного) из текста андроповского отчета, как его ни подделывай, как ни режь ножницами, как ни переклеивай, вычитать невозможно.

Более того. Знатоку истории последних лет эмиграции ничего не стоит в связи с этим вспомнить, кто именно, как, когда и при каких обстоятельствах распространял про писателя Синявского А.Д. вышеозначенную информацию, выступая тем самым в качестве агента КГБ, согласно классическому определению агента как «лица, действующего в интересах определенной организации» (см. «Словарь русского языка» С.И. Ожегова, стр. 21). Вне всякого сомнения: в 1986 году в качестве такового выступила редколлегия хейфецовского журнала «22», опубликовав статью известного, давным-давно разоблаченного стукача Сергея Хмельницкого, который, не затрудняя себя какими-либо аргументами вообще, утверждал, что Синявский - такой же мерзавец, как и он, Хмельницкий. При этом, редколлегия журнала «22» было отлично известно, что в отличие от Синявского (который ни на кого в своей жизни не донес), Хмельницкий посадил по крайней мере двух человек - Ю. Брегеля и В. Кабо. Похоже, в редколлегии журнала «22» действует то же правило, что и в нацистской Германии: там Геринг решал, кто в его министерстве еврей, а кто нет; здесь члены редколлегии «нашего журнала» решают, кто КГБ, а кто нет.

В силу отмеченных выше особенностей своего интеллектуального склада, М.Р. Хейфец даже не считает нуж-

ным скрывать побудительные мотивы своего столь вольного обращения с истиной. Как известно, одним из первых на «связь» Синявского с «органами КГБ» намекнул тогдашний редактор журнала «Континент» писатель Максимов В.Е. На что, естественно, никто не обратил внимания. И только М.Р. Хейфец, по простоте своей дурацкой души, прямо так и отрезал: Синявский - агент КГБ, потому что (цитирую): «Максимов - наш частый автор, а в "22" мы оба члены редколлегии!» (конец цитаты).

Однако, отнесясь крайне легкомысленно к максимовско-хейфецовским инвективам, никто как-то не обратил внимания, подобного небрежения истиной лежит принципиально иная, отличная от общечеловеческой картина мироздания. Вы, скажем, никогда не задумывались, отчего это наши новообращенные православные публицисты так легко присваивают себе прерогативы Господа Бога?.. Читаешь, скажем, какого-нибудь А. Нежного в журнале "Огонек" или Феликса Светова в «Русской мысли» и удивляешься: а чем же, думаешь, будет заниматься Господь на Страшном Суде, ежели Нежный-Светов все и всех уже за него рассудили? И что такая-то категория людей, вне зависимости от их личного поведения, просто в силу занимаемой некогда должности, никогда не войдет в Царствие Небесное. А на таких-то и таких-то не распространяется Благодать Святого Крещения и вообще Таинства Господня (исключительно потому, что очередной духовно возродившийся публицист из журнала «Мурзилка» не велит). И что такой-то и такой-то, кого, между прочим, означенные православные полемисты, может, и в глаза-то никогда не видели, если и делал добро, то исключительно в силу таких-то и таких-то низменных побуждений... А вы, небось, думали, что только один Бог ведает, что творится в душе у другого человека?.. А вы, может, наивно полагали, что вам за ваши грехи отвечать перед Богом на Страшном Суде, а не перед таким же, как вы, смертными из иллюстрированного еженедельника «Два притопа - Три прихлопа»?.. А вы еще, допустим, по наивности своей, вообразили, что эти неофиты перешли из марксизма в православие не из конъюнктурных соображений, а потому что верят в Бога?.. Интересно получается: в Бога они веруют, а греха не боятся?..

Так вот, насколько я понимаю, существуют две принци-

пиально отличные модели мироздания. Согласно одной, все люди сотворены Создателем по образу и подобию Божьему, и в душе каждого из нас дьявол с Богом борются: на каждом из нас без исключения лежит бремя первородного греха, а посему негоже одному грешному человеку становится полным судьей и господином над другими людьми, ибо только Бог один без греха, только Он Вездесущ и Всеведущ, только на Его Милость мы, грешные, с молитвой уповаем. Согласно другой модели, человечество делится на «наших» и «не наших». Некогда противостояние этих двух типов понимания отношений между человеком и Богом, а также между человеком и другими людьми гениально уловил автор неизвестного романа «Бесь». Как вы помните, главу, где описывается бесовской междусобойчик, Ф.М. Достоевский так и озаглавил: «У наших». У «наших» нет понятия объективной истины: есть твердое убеждение о том, что в интересах здорового коллектива все позволено. Нет понятия греха перед Богом - есть только один грех: быть «не нашим» или, упаси Господь, «против нас» (последнее, впрочем, совсем не обязательно). По логике мировоззрения, где Бога заменяет общественное мнение «нашего» лит- или драмкружка, исчезает и понятие отдельного Человека: «враг» (то есть «не наш» человек) - это чаще всего не просто плохой человек, а представитель другой, противостоящей «нам» банды. В зависимости от конъюнктуры, такой «бандой» может стать ЦРУ, КГБ, жидомасонский заговор или вообще что угодно, например, отличные от принятых в «нашем» кругу убеждения. В том числе и такие, которые у нормальных людей считаются вполне уважаемыми: к примеру, «космополит», «националист», «либерал» или «социал-демократ».

Наиболее замечательным образом эта, «вторая» модель отношения к миру проявилась во время гайдаровских реформ в России. Скажем, вполне уважаемый среди российской интеллигенции экономист Григорий Явлинский публикует серьезное научное исследование о том, что реформа Е.Т. Гайдара провалилась. А в ответ ему окрик со страниц проправительственной прессы: «В статье Явлинского все правда, но это не наша правда... А потому следует еще проверить, не получает ли Явлинский зарплату в Фонде Горбачева...» (цитирую по памяти). Другой видный эконо-

мист (советник Ельцина, академик О.Т. Богомолов) объясняет, что именно Гайдар сделал неправильно. А ему: как же так, мол, «свои - по своим»? Казалось бы, последствия ошибок при проведении экономической реформы отразились не на «своих» только, и даже не на одних россиянах? Казалось бы, экономика - какая-никакая, а все же наука, и в силу этого по определению является объектом постоянного критического переосмысления? Казалось бы, только вера может быть «своей» или «чужой», а наука ни «нашей», ни «не нашей» быть не может, наука может быть либо правильной, либо ошибочной? В общем, коль скоро речь идет не о светском рауте, а об экономической реформе планетарного масштаба, то, казалось бы, какая разница: «свои» ли экономисты ее проводят, чужие ли, и где им или их оппонентам платят зарплату, - лишь бы старики и старухи с голоду не мерли? Или: пусть мрут, лишь бы мерли «по-вашему» - стройными рядами к светлому будущему?

Прежде всего, отказ от «первой» (христианской) картины мира в пользу «второй», как это ни странно, означает отказ от рационального взгляда на все вокруг происходящее в пользу эмоционального. В стремлении присвоить себе, грешной твари, прерогативы Бога Всеведущего самонадеянный потомок Адама и Евы отбрасывает тот единственный инструмент, которым снабдил его Господь, чтобы он отличал истину ото лжи - человеческий разум. Поделив мир на «наших» и «не наших», отказавшись тем самым от своей причастности ко ВСЕМУ человечеству, человек в первую очередь отказывается от своего родового определения: «человека разумного» (*Homo Sapiens'a*). Недаром последователи этого мировоззрения больше всего ненавидят тех, кто живет своим умом и рассуждает, с ними не посоветовавшись. Ведь, действительно, человеческий мозг - орудие несовершенное, как несовершенен и сам человек. Но ведь другого средства познания мира у нас нет. Хотя, конечно: для чего мозги тем, кого не интересуется истина?

Когда я была маленькой девочкой, во всех домах московской интеллигенции висел портрет Хемингуэя - причем почему-то один и тот же портрет. Загорелого, бородатого, сорокалетнего Хемингуэя в свитере грубой вязки с широким воротником. Когда я подросла, хозяева этих квартир -

все, как по команде - портрет Хемингуэя куда-то сдвинули. Взамен на самом видном месте появился портрет Пастернака. Некоторое время спустя на том же самом видном месте появился портрет Солженицына - причем, чаще всего, опять-таки один и тот же портрет, в сотнях тысяч копий. Сегодня в Москве к кому ни зайдешь - у всех висит фотография Сахарова... Между прочим, в основе нашей цивилизации лежит образ Сына Человеческого, который Один пошел против целого народа. Причем, «своего» народа. Но, как поется в песне Булата Окуджавы: «Дураки обожают собираться в стаи». И они, между прочим, собираются в стаи не просто так, для взаимного обогрева. А с общественно полезными целями. Например, чтобы отравить Сократа или распять Христа.

Могу поделиться с читателем еще одним наблюдением. Вы не заметили, как году в 1988-м (в крайнем случае - 1989-м) со страниц эмигрантской периодики вдруг исчезли эмигрантские склоки? Как будто их корова языком слизнула. Как-то это вдруг стало неинтересно на фоне пробудившихся надежд на мирный переход к демократии в России. Интерес к ним вспыхнул с новой силой аккурат после «Великой Августовской» революции 1991 года. Дело в том, что неожиданный приступ разоблачительного зуда имеет ко всему происходящему сегодня в Отечестве гораздо более близкое отношение, чем это может показаться на первый взгляд. Прежде всего, возобновление испарившегося, было, интереса к выяснению отношений между эмигрантами - плохой признак, свидетельство того, что идея перехода к демократии была подменена идеей блатной. Не создаются сегодня в России институты, в рамках которых граждане России смогут сосуществовать в течение последующих столетий - создаются места для «своих» и «под своих» (дорвавшихся до власти «так называемых демократов»).

Между прочим, В.Е. Максимов, надо отдать ему должное, - один из немногих людей на Западе, кто вроде бы понимает, что на самом деле творится на нашей многострадальной родине. В связи с чем особенно поразительно, что в такой переломный момент истории своего народа он не находит лучшего применения своим талантам, нежели ловить в темной комнате черную кошку (которой в этой комнате заведомо нет)... Владимир Емельянович, опомни-

тес! Неужели Вы не понимаете, что второго эксперимента над собой на протяжении одного столетия Россия просто не переживет? Ведь погибнет ни за грош великий народ и великая культура... Неужели Вам России не жалко? Может, мы, пока не поздно, хотя бы попытаемся и для нее что-нибудь сделать, а не только для себя, любимых?..

Помимо всего прочего, манипуляции вокруг отчета Ю.В. Андропова о писателе А.Д. Синявском - лишь частный случай того грандиозного блефа, который на протяжении последних полутора лет происходит в России под видом публикации «разоблачений» из секретных советских архивов. Уважаемые люди, которые вступили в полемику с М.Р. Хейфецом, этого, скорее всего, не знают, поскольку у них другая специальность. А я, по долгу службы, внимательно наблюдаю, как российские власти используют свои архивные «находки» против живых политиков - и отнюдь не так называемых «красно-коричневых», а таких же бывших членов КПСС, как сами эти новоявленные российские «демократы», причем зачастую в сто раз больше них для демократии сделавших. И писать на эту тему мне уже приходилось неоднократно. Врать не буду: оригиналов ВСЕХ архивных документов, легших в основу подобных сенсационных разоблачений, я не видала. Но пару дюжин мне все же в руках подержать удалось. Так вот: не было случая, чтобы содержание этих оригиналов совпало с тем, как их толкуют в средствах массовой информации заинтересованные лица. Слегка утрируя, схему возникновения и развития этих архивных сенсаций можно изобразить так: Большой Российский Начальник устраивает пресс-конференцию, в ходе которой машет перед носом у журналистов кипой каких-то бумажек, утверждая при этом, что из содержания этих бумажек явствует, якобы войну в Афганистане начал М.С. Горбачев. Достает копию этих документов - и читает: ничего подобного, Горбачев войны в Афганистане не начинал; Горбачев, наоборот, эту войну кончил, а начали ее Брежнев с Громыко, Устиновым и Андроповым. Короче говоря: во всех известных мне случаях мы имеем дело с использованием явной и беспардонной лжи, причем отнюдь не всегда бескорыстной. Ибо зачастую за всеми этими псевдоразоблачениями стоит то или иное Значительное Лицо, которое и использует монополию на доступ к архивам

определенных российских властных структур в собственных карьерных интересах. Ну, как при Сталине, чтобы заполучить место другого человека, писали на него донос в НКВД, так теперь ищут на него «компромат» в архивах... Может быть, настала пора сказать, что для того, чтобы играть общественно значимую роль в российском социуме, необходимо, помимо всего прочего, еще и иметь мозги?.. И что дураки необразованные умными и знающими все равно не станут, подделывай - не подделывай при этом секретные документы из хранилищ ЦК КПСС?

Насколько я понимаю, оппоненты М.Р. Хейфеца полемизируют с ним не потому, что надеются Хейфеца переубедить. Ведь, согласитесь, невозможно переубедить человека, который сам не верит в то, что пишет. Не такой Хейфец дурак, чтобы верить измышлениям Хмельницкого с Максимовым. (Кстати, он еще и не решил, кого обвиняет в связях с КГБ, кто конкретно, по раскладке М.Р. Хейфеца, агент: не то сам А.Д. Синявский, не то его жена М.В. Розанова, не то их кошка Каспар Хаузер...) Ведь вся статья Михаила Рувимовича построена по принципу: откажется Синявский «стать общественно или политически значимой фигурой» - будем считать факт его «сотрудничества с КГБ» недоказанным, не откажется - тогда пусть пеняет на себя. И в этом смысле очень показательна полемика М.Р. Хейфеца с неопубликованным письмом своего читателя А. Герштейна из Ришон ле-Циона («Вести», 6 ноября 1992 г.). А. Герштейн спрашивает: А где у Вас доказательства? А Хейфец ему: А почему вы не можете представить себе, что дело обстояло так-то и так-то?.. То есть мы имеем дело еще и с мечтателем. Сидит себе человек и воображает: вот было бы славно, окажись Синявский агентом... тогда бы, наверное, не его, а кого-нибудь из «наших» приглашали читать лекции в Сорбонне и Стенфорде...

Знаю заранее, что будут говорить про мою статью М.Р. Хейфец и его компания: во-первых, сама дура; во-вторых, сама агент КГБ; в-третьих, Синявский ее друг.

Дорогой Хейфец! Платон - мой друг, но истина мне дороже... Чего и вам, дуракам, желаю!..

31 декабря 1992 г.

Владимир Максимов

ЗАЯВЛЕНИЕ ДЛЯ ПЕЧАТИ

НЕОБХОДИМОЕ РАЗЪЯСНЕНИЕ

Недавно я получил от М.В. Розановой (Синявской) копию документа, переданного для ознакомления их ближайшим друзьям и нескольким московским журналистам одним непоименованным сотрудником КГБ. Вот он – этот документ: «С целью пресечения одного из возможных каналов проникновения противника в среду творческой интеллигенции, по ДОР на выехавшего с семьей из СССР «Диктора» (Синявского А.Д.) продолжить мероприятия по компрометации объекта и его жены перед окружением и оставшимися в Советском Союзе связями, как лиц, поддерживающих негласные отношения с КГБ. Совместно с 9-м отделом 5-го управления осуществить мероприятия по внесению разлада между Диктором и Доном (Даниэлем Ю.М.), ранее привлеченным с объектом к уголовной ответственности по одному делу. Срок исполнения – в течение года. Ответственный – тов. Иванов Е.Ф.» (Из журнала планов 5-го управления КГБ СССР на 1976 год).

И хотя источник информации предпочел по понятным

причинам остаться анонимным, а сама информация относится ко временам довольно отдаленным, я, по классической, но правовой традиции считать всякий оправдательный факт в пользу подзащитной стороны, склонен довериться этой информации.

В связи с этим считаю своим долгом заявить следующее. На протяжении многих лет заинтересованными кругами на Западе и на Востоке распространялись сведения о связях А. и М. Синявских с органами КГБ. Этому в известной мере способствовала как умело подогреваемая этими кругами перманентно конфликтная ситуация в среде русского политического Зарубежья и метрополии, так и нелегкий характер самих конфликтующих сторон.

Таким образом, запущенная «Галиной Борисовной» дезинформация ложилась на благодарную почву и повлекла за собой последствия, о которых сегодня можно только пожалеть.

Я верю, что рано или поздно архивы этой организации придется открыть, иначе наше общество никогда не разорвет заколдованного круга взаимных подозрений. К этому в Открытом письме тогдашнему главе КГБ Вадиму Бакатину я призывал сразу же после подавления августовского «путча» в 1991 году. К сожалению, призыв этот не нашел адекватного отклика в среде нашей демократической ответственности, охваченной эйфорией своей призрачной победы. Но, повторяю, рано или поздно это придется сделать, хотя бы во имя нашего национального и нравственного самосохранения.

Но до этого, по сложившемуся у меня теперь твердому убеждению, нам необходимо отказаться от взаимных подозрений и обвинений, чтобы в пылу личных обид не бросить зловещую тень на невинных.

Поэтому сегодня я считаю своей обязанностью принести свои извинения А. и М. Синявским за публично высказанные мною ранее в их адрес подозрения в вольных или невольных связях с КГБ.

История учит: нет ничего тайного, что не стало бы в конце концов явным, но до того, как это случится, я в своих взаимоотношениях с оппонентом должен руководствоваться прежде всего *презумпцией порядочности*.

КОНЕЦ ВЕЛИКОЙ ЭПОХИ

Итак, все кончилось... В.Максимов принес извинения супругам Синявским, которых столько лет. Что? Клеймил. Супруги Синявские эти извинения приняли, поручили адвокату Генри Резнику остановить процесс о клевете против журнала «Континент» и сейчас зализывают многолетние шрамы.

– Но сколько он мне крови попортил за эти 18 лет! – воскликнул Синявский.

– А разве ты его щадил? – возразила Мария Васильевна, усмехнувшись.

А я, слабая женщина, все думаю о том, что если высшая добродетель – это не совершать дурных поступков, то следующая за ней – это умение признать свою неправоту и извиниться.



Михаил КУРАЕВ

ДА ЗА КОГО ОНИ НАС ПРИНИМАЮТ?

Наталье Ивановой

Предполагая поделиться с читателем личными впечатлениями и наблюдениями за событиями 3-4 октября прошлого года в Москве, я понимаю, что эпическое изложение, беспристрастность и объективность скорее всего окажутся авторской иллюзией. Речь в данном случае может идти, разумеется, не об интерпретации и подаче фактов, факты упрямая вещь и говорят сами за себя, но чрезвычайно важно сообщить, в каком контексте видятся мне сегодня эти факты, предъявленные городу Москве и всему миру президентом и парламентом России в сентябре-октябре минувшего года.

Для Вячеслава Пьецуха «октябрьские безобразия» всего лишь повод еще раз взглянуть на тысячелетний путь нации, где подробности как бы и не важны, этакое всеобщее «национальное безобразие», да еще то ли очередное, то ли внеочередное. Ироничный и легкий на слово писатель строго выговорил и пристыдил россиян, «ни за понюх табаку» расстреливавших друг друга, а заодно и укорил тех, что тысячами «вышли под пули с детьми и собачками, чтобы насладиться братоубийственным представлением».

Вышедший на широкую историческую арену воскресший Карл Иванович, в ермолке и с мухобойкой в руках, сурово заключает: «русским быть даже не стыдно, русским быть неприлично». Но не пугайтесь, это всего лишь добродушное ворчание добрейшего Карла Ивановича, поскольку уже в следующем абзаце двойка за поведение выставляется всему человечеству за XX век, тут и две планетарные войны, десяток бессмысленных (!) революций и всякие другие дисциплинарные нарушения.

А не смахивают ли эти добродушные интеллектуальные игры на человеконенавистничество?

А не отвлекает ли (м. б. развлекает?) подобный взгляд на трагедию от самого главного, от сознания политической ответственности и за слово и за дело. Несторский взгляд на расстреливающих «ни за понюх табаку» друг друга россиян позволяет счастливо не различать не только имена и поступки отдельных лиц, но и тысячи все тех же россиян, прущих под автоматным огнем с красными флагами, это в 1993-то году! на прорыв блокады к парламенту, подарившему этим россиянам президента и небескорыстно поощрявшего вольное обращение этого президента с конституцией.

Нет, «в контексте Пьецуха» слишком много интеллектуального озорства – ни крови, ни боли, ни ужаса.

«Контекст Новодворской» представляется мне предпочтительнее.

Г-жа Новодворская – женщина гармоническая. Являя собой исключительно колоритный образец дамы, оголтело, зоологически жаждущей «построения капитализма форсированными темпами», она свою неудовлетворенность темпами капитализации обращает в ненависть к народонаселению России. С откровенностью пассажирки международного рейса, уже взобравшейся на трап самолета, она ставит всех желающих в известность о том, что «у нас народа лишь десятая часть, а все остальное – тупая и бессмысленная чернь». И совершенно уже последовательно, гармонично, объявляет «октябрьские баррикады» «самым радостным событием в минувшем году». И полную радость предводительница, уж не знаю кого и чего, не смогла испытать лишь потому, «что Белый дом со всем своим содержимым не был превращен в кучу развалин». («Общ. газ.», № 1, 1994, с. 7).

Капитализация. Тупая чернь. Развалины.

Это уже не интеллектуальные игры, это уже приговор девяти десятым народонаселения, к сожалению, приговор условный, приведен в исполнение, надо думать, он будет лишь после того, как кровожадная дама или ее единомышленники придут к власти и получают в полное свое распоряжение танки, бомбы, виселицы, что там еще надо для вразумления неразумных.

«Контекст Новодворской», по моему представлению, не только обнажает логику поведения президента и тех слоев, чьи интересы он выражает сегодня, но и вскрывает смысл президентских акций. Президент тоже недоволен темпами капитализации, именуемой из большевистской скромности девичьим именем «реформа»; форсированную капитализацию тормозит парламент, выражающий настроения неразумной черни, стало быть, парламент надо обратить в развалины.

Вот такая логика преобразователя, которому для сходства с его возлюбленным царем-преобразователем не хватает только топора в руках, а за непокорными стрельцами дело не станет. И очень бы хотелось поверить в искренность и честность новых преобразователей, если бы не на следующий день, что называется, после разгрома и физического уничтожения своих политических оппонентов, победители не затянули те самые песни, которые в исполнении парламентариев и Хасбулатова им было невыносимо слышать: «Народ должен знать, что не все демократы видят выход из кризиса в массовых банкротствах, безработице, обесценивании вкладов, распродаже за бесценок заводов и магазинов, игнорировании проблем сохранения научно-технического потенциала России и спасения ее культуры, заискивании перед Западом».

Вот так! Прямо из трижды распроклятого «Парламентского часа» да в трижды благословенные президентские «Известия» (№ 252, 31.12.93).

А через недельку-другую и сам президент начнет мурлыкать что-то «антишоковое».

Как это все знакомо, как это по-большевистски, в самых лучших традициях. Взять в октябре семнадцатого эсеровскую земельную программу, а в июле восемнадцатого с эсерами покончить, или наоборот: покончить с Троцким и

взять его программу, покончить с Бухариным и объявить его «преступные» идеи собственными достижениями революционного марксизма. И так до разоблачения происков «антипартийной группы», выступавшей против благодетельных для Отечества совнархозов! Не зря же нас все-таки единомышленники Ельцина по его первому политическому браку, надо думать браку по расчету, заставляли учить историю КПСС с пеленок, мы легко узнаем те же приемы политического маневрирования, оставшиеся теми же самыми уже в новом браке на этот раз, надо думать, по любви.

И вот что замечательно, и советская, и антисоветская политика наших вождей для подавляющего большинства населения сулит в обмен на сегодняшние лишения, унижения, нищету негарантированное благополучие в неопределенном будущем.

Обстоятельства национальной катастрофы, в которой пребывает сегодня Россия, очевидны. Но не желающие видеть, а тем более отвечать за бедственное положение «тупой и бессмысленной черни», называют все происходящее лукавым словечком «поворот истории». Смею надеяться, что мои свидетельства о событиях 3-4 октября в Москве, могут хоть как-то подкрепить самый, на мой взгляд, актуальный лозунг современности: **«ОСТОРОЖНЕЕ НА ПОВОРОТАХ!»**

С какой же системой ориентации я вышел в качестве незванного статиста, «зеваки», по определению Пьецуха, на сцену, где разыгрался кровавый фарс в ходе одного из «поворотов» отечественной истории? Не имея ни возможности, ни желания предаваться политическому сладострастию, наблюдать, сопоставлять, уличать, отыскивать «момент истины», как пятилепестковый цветочек в пышном букете сирени, я мог убедиться, что ни одной политической партии до меня дела нет.

Плачу им тем же.

Не вглядываясь в оттенки лжей, и полуправд, и правд доподлинных, полагаюсь на свои чувства. «Мои чувства нисколько не глупее меня», – сказал мудрый Гельвеций, и я с ним совершенно согласен.

Моему вкусу, просто вкусу претит улыбчивая политическая жаба, брызжущая скороговоркой готовых ответов на все вопросы на свете, но я никому не предлагаю разделить

мое отвращение. Кто-то связывает самые серьезные надежды с политиком, похожим на сытенького клопика, в добрый час! Зато мне не приходится испытывать вкус раздавленного клопа на языке, когда слышу, как устроитель нашего счастья, поглядывая из окна машины по дороге в Кремль на спешащих на работу, подгоняемых морозцем москвичей, бросает беззлобно: «У-у, звери бегут... А мы будем Машу Распутину слушать!» – и включает погромче песенку для души. Ни артист Столяров, ни артист Переверзев, игравшие советских богатырей на экране, не потрафляли моему эстетическому чувству, зато помогли понять, откуда такая популярность и в нынешние времена лубочных вождей с открытой душой, радушной улыбкой и широким лицом.

Эстетическая ориентация, естественно, дает погрешности, но куда меньше, я думаю, чем кропотливое сопоставление человеконенавистничества Новодворской и Жириновского.

Да, вождь, обещавший «начать», и начавший, обещавший «углубить», и здорово углубивший, вызывал мое сочувствие, переросшее почти в любовь, не тем, чем он не был похож на других партийных начальников, а он был таковым, и не быть похожим попросту бы не мог. Мое сочувствие, симпатия и надежда питались тем, что отличало и весьма существенно бывшего комбайнера, от сына сапожника, шахтера и встававшего по заводскому гудку, кажется, слесаря. Ужасно жалко было видеть первого приличного человека на столь высоком посту, совершающего замечательные исторические поступки, медленно, но искренне меняющегося на глазах в лучшую сторону, готового медленно и щадяще менять и жизнь к лучшему, но окруженного сволочью, не желающей, или не умеющей подсказать бывшему комбайнеру, где ставятся по грамоте ударения в его любимых словах.

Летчики, герои Советского Союза, – моя слабость, с детства мечтал быть летчиком. Но когда летчик, герой Советского Союза, носился по обкомам и крайкомам, «поднимая партию на местах» голосовать за Ельцина, не справившегося с городским хозяйством Москвы и потому решившего навести порядок в России, одним летчиком, героем Советского Союза, в моем сердце стало меньше. Но вот все тот же летчик с высоты своего полета стал говорить о

том же, что видел я своими глазами вокруг, о воровстве, коррупции, мародерстве, обмане и казнокрадстве, мое доверие к вице-президенту стало возвращаться. А уж после того, как для разоблачения вице-президента президент собрал целый Комитет, стало понятно, что летчик близок к цели, и его будут сбивать. И здесь можно было убедиться в превосходстве эстетической ориентации! Почему первую скрипку в Комиссии по борьбе с коррупцией и злоупотреблениями вручили адвокату Макарову? И с первых же слов эта скрипка не издала ни одного чистого нефальшивого звука. Комиссия и была лишь по названию «...по борьбе», а по сути-то все тот же знакомый и необходимый как воздух «Отдел пропаганды и агитации». Фальшивых музыкантов, как выяснилось довольно быстро, есть все основания привлечь к суду за клевету и подлог. А того, кто заказывал музыку?

Какое отношение имеет все это к «октябрьским баррикадам»? Самое прямое.

Прежде чем началось физическое уничтожение парламента и тех, кто готов был из каких-либо соображений, этических, политических, а может быть и корыстных, защищать парламент, мы все были свидетелями длящейся уже не один год грызни за власть. Сколько раз за последние несколько лет президент, как девушка-дурнушка, спрашивал избравшего ее жениха: «Ты меня все еще «лю»? «Лю»! «Лю»! все с большей и большей досадой, говорил избравший, не понимая, что это «лю» необходимо лишь для того, чтобы натянуть нос возможной сопернице, а не для того, чтобы осчастливить наконец-то обещанными радостями своих избирателей. У президента уже целая коллекция «мандатов доверия», но всякий раз он не знает, как употребить их для облегчения жизни избирателей.

Какие блага нес президент своему народу, а парламент подставил ножку?

Какие законы не захотел принять парламент, чтобы президент, возглавивший аж Чрезвычайную комиссию нового образца по борьбе с преступностью тоже нового образца, не смог навести порядок? Вопросов может быть великое множество, но ответ будет один на все: президент идет по пути реформ, а парламент стоит, сидит, ставит ножку.

В Лилипутии, как известно, когда на площадях глашатаи начинали кричать о милосердии, щедрости и мудрости правителей, население приходило в трепет, уже зная, что справедливость и доброту провозглашают накануне очередных правительственных бесчинств.

Не выдумав и здесь ничего нового, наши правители накануне «решительных действий» идут к тем, кто будет вещать народу о справедливости, мудрости и отваге, как только это понадобится.

Приведя отдел пропаганды и агитации в боевую готовность, можно уже смело идти в бой.

Президентский Указ № 1400 от 21 сентября 1993 года независимая пресса по неосторожности назвала «государственным переворотом», а пресса мудрая и дальновидная назвала «давно назревшим шагом».

Не надо быть проницательным политиком, астрологом или другом народа, чтобы понимать: такие Указы подписываются не чернилами, они подписываются кровью.

Независимая пресса сказала об этом на следующий день после оглашения Указа.

Почему на следующий день после подписания Указа министры, возглавляющие силовые министерства, сильные писатели, возглавляющие интеллигенцию, просто сильные люди не пришли на Красную Пресню, ну хотя бы с нагайками, и не разогнали «сборище никого больше не представляющих политиканов и реваншистов»? Это было бы логично. Надавали бы по шее, ну расквасили бы нос Руцкому и Хасбулатову, выпороли бы наконец тех, кто не хотел из корыстных соображений понять президентское бескорыстие. Нет, так парламент не ликвидируешь, так Хасбулатова и Руцкого в тюрьму не упрячешь. А тут еще Конституционный суд стал законы на бобах разводить, вместо того, чтобы сказать: никакой Конституции больше нет, и отныне судить будем по сердцу, как на Руси повелось, а не по закону.

Зачем нужна была блокада парламента?

Зачем нужна была отключенная вода, канализация, свет?

Зачем была вырублена вся связь, зачем в пору демократии и гласности заткнули глотку парламентариям, это хотя бы понятно.

Понятно и зачем были поставлены по краям Дома Советов выкрашенные в желтое бронетранспортеры с круглосуточно орущими репродукторами. Верные цветам пропаганды и агитации, броневики лишали возможности обложивших парламентскую берлогу загонщиков-солдат услышать хотя бы словечко, которое могло бы поколебать их уверенность в необходимости держать зверя в берлоге. Тем не менее, осажденные пытались выйти за пределы обнесенного колючей проволокой круга посредством мегафонов и даже радио.

Зачем колючая проволока? Зачем осада? Почему так сложно?

Баррикады?

Но радовавшие сердце Новодворской «октябрьские баррикады» могли представлять некоторую трудность для дворников, как на Красной Пресне, так и для тех, кто отвечает за чистоту Тверской улицы напротив Елисейского магазина.

Нет, на баррикадах ничего не происходило, баррикады были не больше, чем традиционным фоном, декорацией гражданских усадеб.

На оглушительный выстрел из Кремля, прозвучавший лишь 30 сентября, последовал предупредительный выстрел от Совещания субъектов Федерации: «Немедленно прекратить блокаду Дома Советов, восстановить функционирование систем его жизнеобеспечения и отвести воинские части и подразделения милиции, включая ОМОН. В случае применения силы под любым предлогом, на Вас (Черномырдин В.С., Ерин В.Ф., Лужков Ю.М.) персонально ложится ответственность перед народом и Отечеством за возможное кровопролитие».

Слово произнесено. Кровопролитие. И как ему не прозвучать там, где стянуты броневики, установлена колючая проволока, выведены на позиции солдаты, довольно плохо обученные, но сильно вооруженные и частично укрытые бронешилетами.

Итак, автоматы, бронетранспортеры с крупнокалиберными «горюновыми» в башнях, боевые машины пехоты с гладкоствольными пушками под кумулятивный снаряд, пробивающий броню, все стянуто для «решения вопроса» с парламентом. Не хватает только танков и боевых верто-

летов, и все средства ведения сухопутного боя можно считать мобилизованными, впрочем, танки и вертолеты тоже появятся. Что же за армия захватила Дом советов и угрожает семимиллионной столице?

«Смерть хороша и желанна, если это смерть за правое дело, если это смерть в бою». Чьи слова? Павла Корчагина? Ульяны Громовой? Ивана Кожедуба? Нет, это слова все той же г-жи Новодворской, почему-то много хлопочущей о «хорошей и желанной» для других, но только не для себя. Взгляните на это счастливое, смеющееся вам в глаза со страницы газеты существо и вы почувствуете себя, если и не «тупой и бессмысленной чернью», то уж во всяком случае поймете, что вот эти, зовущие в бой «за правое дело», именно за такую нас и почитают.

Армия отмобилизована и приведена в боевую готовность, идеологическая подкладка пристегнута, лозунг из красного архива вынут и выброшен для вдохновения участников предстоящей бойни.

Почему же ничего не начинается и не начинается?

Президент и его окружение только тем и озабочены, чтобы ничего не началось, и потому завинчивают блокадную гайку.

Парламент тоже озабочен тем, чтобы ничего не началось, и с готовностью откликается на миротворческую миссию Патриарха Всея Руси.

Но, когда, думая о мире, готовятся к войне, война, как это ни странно, обязательно происходит.

Третьего октября, возвращаясь из отпуска, я остановился в Москве. Коротая выходной день, в ожидании делового для приезжего человека понедельника, решил взглянуть своими глазами на парламент в осаде. Пресса уже писала о перекрытой воде, отключенной связи и электроснабжении; отключение теплоцентрали и канализации стали особым проявлением благородства осаждающих.

День был удивительно ясным, теплым, солнечным и звал на улицу.

Все ближние подступы к упраздненному Указом президента Верховному Совету Российской Федерации, начиная

от гастронома в высотном здании на площади Восстания, были оцеплены и перекрыты.

Милиционер в какой-то замечательной каске, напоминающей и каску автогонщика и авиатора, в бронежилете, да еще и со щитом в руках, похожим на огромную кухонную терку с дырочками в верхней части щита, был вооружен и пистолетом и дубинкой, это для ближнего боя, но еще и автоматом. Он охранял спуск от площади Восстания на Красную Пресню. Автомат из тех, что, как говорится, и врагу не пожелаешь, калибра 5,6 мм, стреляющий пулями со смещенным центром тяжести. Такая пуля летит, кувыряясь, и при высочайшей начальной скорости, действует на тело, как разрывная, даже хуже, практически, любая рана от такой замечательной пули – смертельная.

Два десятка прохожих, с воскресными сумками в руках, спортивными и хозяйственными, да несколько задиристых дам допекали «центуриона».

«...Вот пока ты здесь стоишь, меня обворовывают! Ты знаешь, как в Москве нынче грабят? Ты же меня должен охранять! Вон вас сколько согнали...»

«Найми, плати и буду охранять...» – из-под забрала сказал милиционер.

«Да?! А на чьи деньги ты одет, обут и накормлен? Их президент заработал? Ты на мои деньги живешь, и я должен тебе платить?»

«У тебя работа и у меня работа, – сообразив, кто перед ним, сказал милиционер, – тебе скажут, и мне приказали... Проходите, проходите, нечего тут...»

«А я хочу вот здесь стоять!»

«Вас как зовут?»

«Саша».

«Так вот что, Саша, кончай свой словесный понос и двигай отсюда по-хорошему, а то транспорт вызову».

«Ага! Скорую вызовешь, полтора часа жди, а твои сразу приедут, тут и бензин и деньги, все есть».

«Проходите, я сказал».

«А я хочу здесь стоять...»

Нормальный базарный разговор с современным рыночным колоритом.

Двинулся по Садовому кольцу в сторону Москвы-реки.

Вдоль американского посольства невысокое огражде-

ние, вынесенное за тротуар, за ограждением идут работы, хотя и воскресенье, разбирают металлические леса, складывают в штабеля. Работают неторопливо автопогрузчики и рабочие. Судя по освеженному фасаду, только что кончили ремонт.

Сразу за посольством Большой Девятинский переулок, спускающийся вниз на Красную Пресню, напрямик к Дому советов. Здесь уже настоящая заграда. Застава из двух-трех десятков офицеров, подкрепленная чуть ли не сотней солдат в ватных куртках и бронежилетах. Переносные металлические загородки в два ряда. Военные машины за загородками. Перед заставой толчется человек с сотню публики.

Располагая красной книжкой упраздненного Союза писателей упраздненного СССР, подхожу к милиционеру у загородки и с простодушием отрока Варфоломея объявляю: «Вообще-то я писатель... я тут у вас проездом... дома будут спрашивать, как там в центре... можно мне пройти?»

Эти воины еще не догадываются, что уже брошены в последний и решительный бой с властью Советов и потому продолжают испытывать доверие к обладателю красной книжечки, как к своему.

«Пропустить я вас не имею права, но вот здесь журналисты дожидаются, пресса, в три часа будет пресс-конференция в Верховном Совете, оттуда придут и всех вас заберут».

Вот это да!

Ну что ж, есть смысл потоптаться, хотя времени было еще не больше половины второго.

Ждать пришлось долго. И хотя еще никого никуда не пускали, жаждущая новостей пресса толкалась, теснила друг друга, сноровистые пробирались в первые ряды, а какая-то молодая особа не уставала объявлять: «Телевидение "Останкино"», – подпихивая ближе к загородке груженых аппаратурой операторов.

Солдат из оцепления рассказал, что еду привозят, спать увозят, эксцессов нет, а бронежилет весит двенадцать килограммов. «Пули часто залетают?» – спрашиваю доверительно, почти шепотом. «Вы что, смеетесь, какие пули?» «Жилет-то от пуль?» «Велели надеть, надели». «Сколько стоять?» «Два часа стоим, потом в автобусе отдыхаем».

И вот, все произошло, как предсказал милицейский у

ограды, около двух появился какой-то мальч в черном кожаном пальто, и хотя один глаз у него смотрел на вас, другой в Арзамас, многих из толпившихся журналистов он узнал, и родных и иностранных, записал в ученическую тетрадочку, после небольших препирательств вписал и меня и наконец повел.

Тоненьким ручейком, затылок в затылок, с открытыми удостоверениями личности в руках мы потекли вниз по Большому Девятинскому. Завтра здесь будут летать пули, и я снова окажусь здесь, но это завтра.

Сердце билось. Прощел! Вот те на! Да еще куда?! Иду на пресс-конференцию Хасбулатова. Я ж за всю жизнь выше обкомовского полета ни одной птицы вблизи не видел, а тут!..

Тетрадочка с наспех записанными нашими фамилиями передавалась от одной заставы к другой, офицеры на каждом новом рубеже, нещадно перевирая фамилии, сверяли документы с записью в списке; в международном аэропорту, где фактически проходит госграница, нет такого усердия, бдительности и строгости. Без особого разрешения и мышшь не должна пробежать к осажденным.

Сам факт пресс-конференции был конечно неожиданным и казался жестом примирительным, то перекрыли все, кроме кислорода, то вдруг этакая роскошь. Однако, надо отдать должное и организаторам и участникам пресс-конференции, в нашей прессе и по нашему телевидению никакой информации об этом примечательном событии мне не попало.

Около третьей заставы, за которой шла колючая проволока, отделявшая «нейтральную полосу» шириной метров в десять, стоял бронетранспортер с огромными репродукторами вместо орудийной башни, в соответствии со своим назначением он был выкрашен в желтый цвет. Из репродукторов неслась «легкая» зарубежная музыка, подавляя все звуки и голоса вокруг. «Ты не оглох еще?» – проорал я стоявшему в оцеплении солдату. Он нагнулся ко мне и в ответ проорал: «Не слышу!»

«Желтый геббельс», а солдаты именно так прозвали это оружие отдела пропаганды и агитации, появился на позиции после того, как со стороны парламента попытались что-то кричать солдатам в мегафон, не оскорбительное, а

как бы разъяснительное. Это провокационная попытка, вылазка парламента была пресечена, и звукоизоляция с помощью оглушительной техники восстановлена.

Выходя из дома, я даже не предполагал, что так глубоко влезу в «историю», всегда кажется, что эта самая история происходит на каких-то непросматриваемых рубежах. У меня с собой не оказалось не то что магнитофончика, но и клочка бумаги. Транспаранты, обличающие Ельцина и его единоверцев в предательстве, диктаторских амбициях, попрании Конституции, бесчестии и прочих грехах, конечно были достойны буквального воспроизведения. Где-то у меня затерялся блок-нот, куда я вписал надписи, сделанные защитниками «белого дома», как они звали все этот злосчастный дом, на беломраморном цоколе, углем, фломастером, сажей, помадой, явно в подражание покорителям рейхстага. Обилие красного цвета на баррикадах и укреплениях, которые нельзя было бы рассматривать всерьез даже в войне Тимура с Мишкой Квакиным, говорило о просоветских настроениях защитников... ну, скажем так, здания, где продолжал цепляться за власть упраздненный президентом парламент.

Бывалая журналистская братия, пройдя «нейтральную полосу», потянулась к воспетому «белому дому» как пчелки к улью, знающие, где там леток, и прочие ходы и выходы. Опасаясь затеряться в огромном незнакомом здании, я выбрал державшихся вместе молодую женщину из журнала «Мир женщины» и ее стройного молодежого попутчика из какого-то неведомого мне издания. Они шли по лестницам уверенно, поднялись то ли на четвертый, то ли на пятый этаж и скрылись за дверью, украшенной роскошной застекленной таблицей: «Пресс-секретарь Верховного Совета Российской Федерации Константин Сергеевич Злобин». Вошел в эту дверь и я, немало удивившись, увидев, как «Мир женщины» занимает место за столом секретарши в приемной, а молодежавый и стройный вступает в просторный кабинет как хозяин.

«Вы не "Мир женщины"?» – простодушно поинтересовался я.

«По нашим удостоверениям, Верховного Совета, нас бы не пустили», – разъяснила военную хитрость помощница пресс-секретаря.

Улучив момент, я назвал себя и попросил Константина Сергеевича ответить на один только вопрос: «Каковы перспективы вашего здесь сидения, сколько это может продолжаться?»

«Перспективы вполне определенные. Собираются представители субъектов Федерации, из восьмидесяти восьми уже шестьдесят два заявили о поддержке Конституции и парламента. Конституционный суд не поддержал незаконные действия президента. Завтра должен собраться Совет субъектов Федерации, где будет дана правовая, политическая и моральная оценка действиям президента. Собственно... вы идете на пресс-конференцию? Все сейчас там услышите». Тогда не удержался от вопроса: «А куда вы ходили?» «Домой звонил, мы же здесь сидим две недели. Привезли рубашку переодеть. Еды немножко, много же не пронести. Сейчас хоть со светом...» Действительно, и на столе секретарши и на рабочем столе пресс-секретаря еще красовались (рано убирать?) свечные огарки.

Рассказывал Константин Сергеевич о «перспективах» спокойно, уверенно, легко, без нажима и резких слов, говорил как об очевидном и единственно возможном. Совет субъектов Федерации уже собирался, уже заявил ультиматум правительству, требуя восстановления жизнеобеспечения здания Дома советов без всяких условий. Свет, воду дали, а вот войска отвести и снять осаду отказались, хотя и это требование было заявлено в категорической форме.

В коридорах Верховного Совета, по которым я отправился просто погулять, ожидая трех часов, было немногочисленно. Часто попадались люди в штатской одежде все с теми же адскими короткоствольными автоматами с ворованной пламегасителя на конце ствола. Люди эти были по большей части в пальто, куртках, плащах, из чего следовало, что это не внутренняя охрана. А, может, ходили по коридору в том, в чем пришли из дома. Какое же это огромное здание! Счет обитателей Дома советов – вышедших под честное слово осаждавших, вышедших под белыми флагами, прорвавшихся мелкими группками, взятых в плен и сотни убитых, говорит о тысячах обитателей, сейчас же Дом удивлял своим многолюдством.

Аванзал перед залом для пресс-конференций был про-

сторен, светел, полон дворцовым сиянием. Огромные окна, Москва-река за окном, ясное небо.

Пришедшие на пресс-конференцию журналисты заняли позиции со своей телеаппаратурой непосредственно перед столом председательствующего, а пишущая публика едва ли заняла первых шесть-семь рядом, и то неплотно. Перед самым появлением Р.Хасбулатова стали раздавать листовки на бланках Председателя Верховного Совета Российской Федерации и Президента Российской Федерации, подписанные Р.Хасбулатовым и А.Руцким в качестве и.о. президента. Пока я старался заполучить эти листовки да еще и Бюллетень № 4 от 1 октября 1993 г., за столом председательствующего занял место Хасбулатов и его помощник.

Странное дело, я пересмотрел всяческие «Хроники» событий 21 сентября - 4 октября 1993 года в Москве, и в «Московских новостях», в «Санкт-Петербургских ведомостях», газетах обстоятельных и честных, даже в трехсотстраничном фолианте изрядного размера «Век XX и мир. 93. Октябрь. Москва», давшим самую подробную почасовую летопись событий, начиная с 21 сентября, и там нет хотя бы упоминания о пресс-конференции, на которой я был своими ногами, глазами и ушами. Для чего было толпиться больше часа всей этой журналистской братии, если?.. Впрочем, каждый делает свое дело.

Вот текст листовки с заявлением Р.Хасбулатова:

РХ.01-00718 «Заявление» 3 октября 1993 г.

«Сообщаю, что по самым достоверным данным, поступившим к руководству Верховного Совета Российской Федерации от ближайшего окружения Б.Н. Ельцина, под прикрытием пропагандистской шумихи о «переговорах», Ельцин готовит нанесение силового удара по защитникам конституционного строя в Верховном Совете и взятие здания штурмом.

Доводим эту информацию до граждан Российской Федерации, руководителей Советов всех уровней, мировой общественности. Не допустите пролития крови и торжества сил зла и ненависти в России. Объявляем, что вся ответственность за эту гнусную провокацию ляжет на Ельцина и его окружение, совершивших государственный переворот и теперь стремящихся укрепить свой преступный режим.

Р.И.Хасбулатов».

Меня удивил вид, цвет лица автора «Заявления», он был желтым, осунувшимся, как у тяжело больного человека. Тем неожиданней зазвучал твердый голос с такой привычной усталостью человека, вынужденного говорить об очевидном и вразумлять неразумных. Повторив свою оценку действий президента, «то есть бывшего конечно президента, видите, события так стремительно развиваются, что не успеваешь привыкнуть к новым определениям, конечно, речь идет о бывшем президенте, ставшим государственным преступником», глава Верховного Совета стал выговаривать журналистам за необъективную, одностороннюю информацию, скрывающую от мировой общественности подлинную картину попытки государственного переворота. «Завтра собирается Совет субъектов Федерации, будет дана оценка поступкам людей, утративших представление о стыде и совести, и нам нужно будет строить свои отношения и с зарубежными странами; занятая иностранными журналистами позиция мне представляется недалеконвидной, близорукой...» Все та же привычная интонация человека привыкшего читать нотации. А тон спокойный, уверенный. Выступление Хасбулатова показалось мне довольно пространным, хотя длилось минут пятнадцать, не больше.

После первого же вопроса о миротворческой миссии Патриарха и переговорах в Свято-Даниловом монастыре стало понятно, что ситуация вошла в критическую фазу.

«Президентская сторона, то есть, извините, стороны бывшего президента, пытаются представить переговоры с участием Патриарха Алексия Второго как попытку найти соглашение, компромисс. Хочу внести ясность. Никакого соглашения, никаких переговоров с преступниками быть не может. Речь идет лишь о миротворческой миссии Русской православной церкви, прилагающей усилия к предотвращению насилия, кровавых эксцессов и подобного рода действий. И в этом отношении мы инициативу православной Патриархии, естественно, поддерживаем». Не стану, полагаясь на память, воскрешать характеристики Ельцина, прозвучавшие при этом, но были они крайне резкими, уж это точно.

Второй вопрос и прозвучать не успел, как со стороны аванзала на пресс-конференцию буквально ворвался А. Руц-

кой, в черном плаще, с непокрытой головой и поднятой в руке трубкой радиотелефона с никелированной антенной. Он шел в сопровождении четырех-пяти молодых людей в гражданской одежде, но с автоматами.

«Послушайте!.. Послушайте команды, которые они отдают! Пусть журналисты это слышат! Они приказывают стрелять!»

Без привычки что-либо понять в радио-переговорах, да еще полевых, боевых, весьма трудно. Хрипы, помехи, полусловный язык. Руцкой расположился рядом с Хасбулатовым, скинув здесь же на стул свой черный плащ. Помощники суетятся, чтобы присобачить к радиотелефону какие-то микрофоны, которые усилят звук и сделают его понятным всем присутствующим.

Однако, вслушиваться в команды, которые неведомо кто неведомо кому отдает и тем самым разоблачает ложь о миротворческих усилиях президента и его защитников, нет нужды, за окнами, из-за моста уже донеслась автоматная пальба. Началось! Почему-то именно эта стрельба, автоматный огонь, предшествовавший появлению под окнами Дома советов россыпью и в затылок бегущих милиционеров, омоновцев и бойцов оцепления, именно эта стрельба как-то выпала из истории 3 октября. Таким образом, «Заявление» Хасбулатова как бы было тут же завизировано автоматными очередями.

Заслышав стрельбу, Хасбулатов и Руцкой, не прощаясь и никак произошедшего не комментируя, скрылись во внутренних помещениях; их исчезновение даже не было сначала и замечено, потому как все бросились к окнам и даже вылезли на узенькие балконы, обращенные к набережной.

Вылез на балкон и я. По мосту, соединяющему Новый Арбат с Кутузовским проспектом беспорядочно бежала милиция в касках со щитами и дубинками. Похоже было, что решительное столкновение произошло на той стороне реки, именно там части, блокировавшие парламент, были смяты демонстрацией, шедшей на деблокаду Дома советов.

Между отступившими стражами и наступавшей демонстрацией образовалось какое-то пространство. Так в фильмах о войне после того, как через деревню или городок промчатся и пройдут отступающие, до появления первых немцев остается еще какое-то время. Стало быть, послан-

ные президентом стоять до конца и не пускать, стоять до конца не стали и резвости в схватке с демонстрантами и усердия в выполнении ответственного правительственного задания не проявили. И постреляли, похоже, больше для остратки, если бы стреляли в толпу, «в мясо», думаю, картина с самого начала была бы и на мосту и за мостом совсем другая, хотя жертвы уже на Смоленской площади были.

После того, как милиция и воины охраны передоверили свою судьбу собственным ногам и убежали в сторону Хаммеровского центра, на набережной, на площади, так недавно окрещенной площадью Свободной России, стали появляться одиночки и разрозненные небольшие группки молодых по преимуществу людей с красными флагами на длинных древках и оружием, по старинной российской традиции добытым явно в бою, – с резиновыми дубинками и милицеескими щитами. Ничего стреляющего, режущего и рубящего видно не было.

Я не заметил, что остался на балконе один, журналистская публика, что-то пронюхав, испарилась.

Под балкон подбежал какой-то мальш, лет двадцати-двадцати пяти, высокий, с довольно симпатичной рожей. Он бежал, он сражался, он был полон огня, прибежал, и на тебе, перед главным входом в парламент довольно пустынно, а на балконе маячит какой-то тип в белом плаще, стало быть я. И ничего не оставалось этому герою, как за неимением других вождей, обратиться свою речь ко мне: «Народ вас освободил, так не будьте козлами!»

Что я мог на это ответить? Отвечать за этих козлов, которые вырастили того козлищу? Нет, хватит и так беззаконных претензий на власть. Я в ответ на призыв «народа» лишь развел руками и предпочел с балкона убраться, чтобы не собирать внизу толпу и не примазываться к обреченным. А ведь именно в такие минуты рождаются герои!

На выходе, в аванзале я встретил паренька из охраны, в штатском и без автомата. «Отец, куда все слиняли?» – на демократическом языке поинтересовался я. «Сейчас митинг будет, во внутреннем дворе». «А как туда?» Сейчас прямо, налево, до лестницы, потом вниз, третий этаж... там увидите».

В одной из опубликованных почасовых хроник этих дней

записано, что в 15.55 3 октября, заведя чуть не на противоположном берегу реки демонстрантов, «Белый дом, казалось, взорвался громогласным «Урал!» Жаль, что пожелавшие остаться неизвестными летописцы не сообщили, кому это «казалось». Но врать так врать: когда демонстранты прорвали цепи омона, «обитатели парламента уже не орали, а дико выли от восторга и перевозбуждения». В поисках выхода на третий этаж я видел в фойе перед каким-то просторным буфетом плачущих, обнимающих друг друга, поздравляющих со снятием осады женщин из обслуживающего персонала. Видел возбужденных, счастливых мужчин, просидевших в осаде без света, без тепла, питаемых бутербродами с минеральной водой, а теперь взирающих на плещущую красными флагами тысячную толпу под балконом со стороны Красной Пресни. Да, они пожимали друг другу руки, улыбались, поздравляли, почти не верили в избавление. Где они были, «дикое воюющие от восторга»? Вот уж действительно: горе побежденным!*

Совершенно беспрепятственно через какое-то роскошное фойе я вышел на балкон, ставший трибуной многотысячного митинга. Вид митингующих внизу производил такое впечатление, будто бы они пришли сюда из какого-нибудь семидесятого или семьдесят восьмого доафганского года, не хватало только портретов Леонида Ильича и Карла Маркса. И по виду, по одежде и по возрасту это были люди из прошлого, обманутые, с вывернутыми и вытрясенными карманами, растерявшиеся, утратившие под ногами почву, не помнящие, что же с ними вытворяют. Лет десять они не меняли свою верхнюю одежду. Старомодно было их обличье, старомодны были их флаги, старомодны были их желания и надежды... Их жизнь прошла, кончилась, они

* «Парадоксальный пример сраженности Церкви и государства может дать «анафема», загодя провозглашенная Синодом любой проигравшей стороне. Понятно ведь, что каждая сторона будет говорить, что «они начали первые». Но официально в этой перепалке победит победившая сторона – ибо в ее руках будет и прокуратура, и следствие, и средства массовой информации. Анафема была провозглашена по принципу «на кого Бог пошлет». А выяснять, на кого именно «Бог послал», – будет прокуратура. И теперь Синод поставил себя в такое положение, что по требованию г-на Казанника он должен будет бесприкословно отлучать обвиняемых от Церкви». «Век XX и мир. 93. Октябрь. Москва. Хроника текущих событий». Диякон Андрей Кураев «Церковь в осенней политике».

больше не нужны тем, кто крутит руль большой политики в Кремле, и тем, я думаю, кто пытался, руля из парламента, сделать капитанский мостик в парламенте выше капитанского мостика в Кремле. Мое впечатление подтвердит врач одного из городских моргов: «убивали людей в стоптаных ботинках».

Их убивание потребует куда больше сил, энергии, начальственных хлопот, чем казалось в сентябре, поэтому словарь победителей пополнился «трофейными» фразами о защите национальных интересов и интересов широких слоев населения. Этой кровью будут оплачены жалкие и скорее всего пустые оговорки к «шоковой» программе, обещавшей что-то вроде сладко помиваемого НЭПа, а на деле сыгравшей на руку лишь оборотистыми дельцам, умудрившимся «заработать» бешеные «бабки» в разоренной стране, с развалившейся экономикой, загнанной наукой и девальвированной культурой, из коих 15 миллиардов долларов «чистой» прибыли за год отправлено в западные банки. Под сенью двух ветвей власти страна оказалась отданной на разграбление. Отчаявшиеся пошли по старой дорожке, под старыми флагами.

Я вышел на балкон-трибуну, ни кем не приглашенный, но и ни кем не остановленный.

Митинг плескал флагами, громовыми дружными кликами «Фашизм не пройдет!», «Ельцин – предатель!», и просто «Ру-цкой! Ру-цкой!» Кто-то что-то говорил в микрофон, кажется Хасбулатов. Голос, усиленный трансляцией, гремел, но разобрать слова было невозможно. Сюда же на балкон выходили из здания люди, лицами и начальственным обличем заставлявшие вспомнить и ельцинское окружение, и кулуары съездов. Запомнились слова, которые они сообщали друг другу с каким-то особым вкусом и вдохновением: «Надо развивать успех! Надо развивать успех!»

О, я никогда не был так высоко вознесен над народом! Будь я внимательным телезрителем, я бы узнал рядом с собой множество героев последних лет. Еще когда искал дорогу на балкон, в каком-то вестибюле услышал: «Баранников прибыл! Баранников идет!» Через центральный вход в здание Верховного Совета энергичной походкой под жиденькие аплодисменты случайных зрителей вошел начальственной стати крупногабаритный и показавшийся мне мо-

ложавым министр. Он был одет по моде в мягком черном кожаном пальто с погончиками. Завтра, в разгар боя я увижу точно таких же, в такой же начальственной униформе энергичных и моложавых «пятьдесят шестого размера» гебистов. Они приедут на позиции в Девятинском переулке, так же энергично, не кланяясь пулям, сойдут со своих черных «волг» вниз, потом без потерь поднимутся наверх и укатят.

Что уж там говорили в микрофон, не помню, ликование обреченных производило впечатление жуткое. И конечно баян, и конечно «Смело, товарищи, в ногу!»

Все та же «Хроника», 16.35. «На балкон ворвался Руцкой... Мгновенно оценив обстановку, выхватил у охранника мегафон и отдал команду: "Женщины – в сторону, мужчины – стройся в боевые отряды"».

У кого вырывал Руцкой мегафон, я не видел, да и надо ли «вырывать» у своего же охранника что-то, а вот то, что не на балконе, а внизу, под балконом появился Руцкой с мегафоном, весьма существенно.

Это и было началом конца.

Конец чего?

Парламента? Советской власти? Тоталитаризма?

Здесь все так завралось, что отличать нынешний произвол от произвола других времен занятие излишне академическое. Это было начало конца жизни сотен людей, это было началом неизбывного горя тысяч, многих тысяч людей...

«Хватит упиваться эйфорией! – закричал снизу в мегафон Руцкой тем, кто стоял на трибуне-балконе. – Кончайте митинг! Надо идти дальше, надо брать мэрию, брать Останкино!»

Кого?! Куда?! На что?! Зачем?! он собрался вести. Заводы к нему пришли? Институты? Надо же видеть и понимать!

Ну что ж, человеку, просидевшему две недели в темном подвале, и свечка может показаться ослепительным солнцем.

Они приняли эту толпу отчаявшихся за народ.

За народ примут их враги и толпу, что соберется для защиты Моссовета на Тверской.

И те, и другие будут благодарить «мудрый и мужествен-

ный» народ, пришедший на защиту самого дорогого – своих начальников. И громом с ясного неба и для победителей, и для побежденных станут результаты скоропалительных выборов, бойкотированных почти половиной взрослого населения страны. А треть пришедших голосовать отдаст свои голоса, что называется, первому встречному, лишь потому, что он еще не успел ни наврать, ни обмануть, ни быть причастным к бедам, обрушившимся на миллионы людей. Но это впереди.

Руцкой с мегафоном в руках, как второй режиссер на массовых съемках, мечется вдоль толпы, собирая молодых мужчин, готовых встать на защиту народа, на защиту Конституции. На моих глазах выстраиваются, несмотря на суету и неразбериху, два то ли взвода, то ли полуроты, этак человек по пятьдесят. Без оружия, все в гражданском. Почему и.о. президента, замыслившему «хорошо подготовленный и спланированный» заговор, нужно заниматься такими импровизациями? Где же банды головорезов с «заточками», где марширующие полки русских фашистов со свастикой? Завтра все газеты будут печатать фотографии этих отрядов, приветствующих по-гитлеровски своих вождей. Нет, пока все, что происходит внизу, пахнет самодеятельностью.

Вечером такую же самодеятельность я увижу по телевизору, где один будет призывать всех, имеющих автоматы, выходить на улицу, другой оставаться дома и водочку пить, третий... четвертый... Странное дело, как эти враги, эти начальственные уничтожители друг друга не пытаются доказать, до чего они на своих врагов не похожи, глядя на них вблизи, понимаешь – одна порода, одно тесто, одна плоть и суть. Недаром же еще так недавно они дружно и мощно топтали третьего. А теперь чего-то не поделили. И даже начинаешь догадываться, чего не поделили. Не поделили права спрашивать, указывать, предписывать и ни за что не отвечать. То есть борьба идет за право стать «местоблюстителем» ЦК КПСС и его ленинского Политбюро. Ничего нового эти придумать не могут. Несет ли какую-нибудь ответственность за свои действия президент? Что осталось, кроме его президентского портфеля, собранного на скорую руку, от СНГ? Где единое рублевое пространство? Где прозрачные границы? Где общее воинство? Все блеф,

все тупта. Не видели на рельсах и обещавшего на рельсы лечь, если жизнь людей не изменится к лучшему. Видели, как накануне референдума понижаются цены на бензин, как на встрече со студенчеством расточаются несбыточные обещания, видим и читаем, как накануне референдума наша сокращающаяся армия пополняется 187! новыми генералами, перед декабрьскими выборами большие звезды снова посыпятся на погоны. Подкуп, как политика власти, даже не маскируется. «Желтые геббельсы» у Верховного Совета с особой настойчивостью и частотой передают песенку о проститутке, «Путана», а в промежутках громогласно зачитывают Указ президента «О социальной защите народных депутатов», где депутатам, покинувшим парламент, предлагается немедленная выплата годовой зарплаты 2-3 миллиона и передается в собственность квартира по месту жительства. Правительству предложено немедленно найти 348 должностных мест для депутатов, то ли уже согласившихся перебежать нейтральную полосу, то ли еще колеблющихся. «Путана! Путана! Путана!»

Руцкой куда-то снизу исчез; на балконе появился человек в рясе с непокрытой головой. Я поинтересовался, он-то зачем здесь. «Пастырский долг – быть с людьми», – просто, без аффектации, ответил священник. «Зря это все, это все преступление».

Со стороны мэрии и гостиницы «Мир» раздался грохот стекол. Показалось, что кто-то стреляет. Здесь, на балконе, это не вызвало никакой реакции. Но вскоре из фойе на балкон выскочили двое солдат, деловых, энергичных, один был с биноклем и автоматом, армейским, дальнобойным, а второй аж со снайперской винтовкой, каких я еще и не видел.

«Щас мы его снимем», – сказал тот, что с биноклем, и стал разглядывать гостиницу «Мир» в бинокль. Солдат-снайпер щелкнул затвором.

Ого! при мне опять будут убивать?!

Я еще не знал, что вице-президент, соревнуясь со своим президентом, обещавшим лечь на рельсы, в пошлости, дурном вкусе и цинизме, публично посулил то ли «нарубить», то ли «накрошить» всех, кто только попробует силой взять дом Верховного Совета.

При мне один раз убивали, но это было сорок лет назад,

начальник лагерного караула прямо на улице стрелял из нагана в спину пойманного беглеца; парень лет восемнадцати, не чувствуя убийственных ударов рукояткой нагана в спину, истошно взывал: «Дяденька, не убивайте!» И сейчас будут убивать? Сердце запрыгало от плеча до плеча, живот вообще провалился, и под ребрами я чувствовал пропасть. «Кого ты там снимешь? Ты чего?» – ввязался я, еще толком не зная, что делать дальше; собственно, в таком же положении в эту минуту были и Ельцин, и Руцкой, только думали мы и хотели разного.

«Двух солдат сейчас убили, из гостиницы "Мир" стреляли», – охотно пояснил солдат с биноклем и добавил: «Вон он!» «Кто он? Ты что? Покажи!» Для эффекта надо было бы вырвать бинокль у солдата, как «вырывал» мегафон генерал, но солдат сам протянул мне могучий десятикратный армейский бинокль. Если вы думаете, что я что-нибудь увидел, то это не так. Руки у меня дрожали, будто меня самого сейчас будут убивать. Делая вид, что я смотрю в бинокль, я смотрел чуть поверх, своими глазами стараясь разглядеть, что там действительно маячило в окне, в метрах полутора от балкона. Для снайпера не расстояние. Глаза у меня пока еще видят, а в даль и неплохо. Да, в окне стоял какой-то тип в защитной форме, на высоте пояса что-то такое громоздилось, то ли пулемет, то ли съемочная камера. «Какой снайпер! Станет тебе снайпер перед окном болтаться! – резонно заявил я. – Это телеоператор!» «Дайте, я посмотрю», – вежливо взял у меня свой бинокль снайпер. «Оттуда же стреляли», – сказал он не очень уверенно, не отнимая бинокля от глаз. «Дай я еще посмотрю», – попросил второй солдат, встал на колени перед балконным парапетом, поставил локти в упор и начал разглядывать цель. «Идиот, мудака, пидор!..» – я старался телепатировать самые резкие выражения тому, кто упорно хотел, чтобы на него посмотрели сквозь оптический прицел: «Уйди, дебил, сука! Мать пожалей! Детей пожалей!» То ли сработала все-таки моя телепатия, то ли еще какие силы хранили этого чудака, но из окна он наконец исчез. Впрочем, и посеянное мной сомнение довольно быстро дало всходы. Поднимаясь с колен, парень с биноклем покачал головой: «Может быть, и оператор...» Вот как хорошо,

если не думать, то хотя бы посомневаться, прежде чем нажимать на курок.

Солдаты ушли, а у меня было такое состояние, будто только что хватил стакан водки без закуски, голова, как не своя, и все вокруг как бы незнакомое.

В той стороне, где у подножья американского посольства стояли боевые машины президентской пехоты, вдруг одна БМПшка загорелась. Не было слышно выстрела, не видел я, чтобы чем-то в нее кинули. Я ждал, что экипаж выскочит, начнет тушить. Но почему-то запустили двигатель, и горящая машина покатила в сторону зоопарка. Это уже напоминало видения из дурного сна. А на улице чудный вечер. Светит солнце, тепло. Я в белом плаще. Только нет ни клочка бумаги, ни ручки, и потому воспоминания так бледны.

Как рифмуются, однако, президент и обеспечивший ему на выборах голоса коммунистов и военных вице-президент! Морально рифмуются. Один обещает «нарубить», «накрошить», другой организовал это крошево, ни для одного, ни для другого препятствий морального порядка не было и нет, и то, что крошат-то не злокозненных депутатов, а двадцатилетних парней и сорокалетних мужиков, призванных на роль народа, это им хоть бы хны.

Президентский подкуп, так нагло продемонстрированный и в пору референдума, и при разгоне парламента, тут же берут на вооружение. Его политические враги и моральные однокровцы будут действовать так же.

Блокада парламента прорвана, снята, но события разворачиваются пока еще в ближних пределах.

Я понимаю, что торчать здесь имеет смысл лишь до конца, то есть день-два, это самое важное, самое интересное на земле место. Но меня ждут, ждут в доме, где я остановился, а еще ждет художница, работающая для моей книги. Если бы работал хоть один телефон в самом Доме советов, или хотя бы автомат поблизости, я бы предупредил ожидавших меня и остался. Но ни один телефон во славу демократии и торжества справедливости не работал.

Выйти из Дома советов оказалось трудней, чем войти.

Люди с автоматами, убежавшие по коридорам, услышав, что я хочу их покинуть, говорили про какой-то подъезд, то ли 21-й, то ли 14-й, через который организован выход,

говорили так, будто на лице моем было написано, что я-то уж этот дом знаю, как собственный кошелек. В конце концов, я нашел этот чертов подъезд, спустился в вестибюль, где ждали перевязки в развернутом здесь же полевом медицинском пункте раненые солдаты. Я подошел к раненым: «Ты куда?.. Чем тебя?..» «Стеклом». «А тебя?» «Говорят же, стеклом». «А как угораздило?» «Выпрыгивали через стены... ну эти, окна...»

Это солдаты внутренних войск, пригнанные для охраны мэрии. После того, как Руцкой двинул свое воинство на штурм мэрии, естественно, защищать ее и умирать за нее никто не хотел. Когда грузовики (кто же их пригнал так вовремя и оставил перед мэрией с ключами в замках зажигания?) стали таранить стены вестибюля, солдаты благо-разумно решили предоставить право защищать свои кресла тем, кто в них сидел, но таковых не оказалось.

Ожидавшие перевязки и уже перевязанные, солдаты были угрюмы и сосредоточены, эти уже отвоевали и теперь увидели, в какую историю их втравили те, кто призывал с безопасного расстояния «хорошо умереть за правое дело».

И охранники Дома советов, и медперсонал относились к раненым, а отчасти как бы и пленным, с тем прохладным сочувствием, с каким на киносъемках относятся к пострадавшим по своей же вине.

При выходе у меня спросили документ, показал удостоверение несуществующего Союза писателей СССР. В несуществующем Верховном Совете одной из стран СНГ оно почему-то считалось действующим.

Выйдя во двор, я увидел, как на руках (почему на руках?!) катили от Девятинского переулка военную радиостанцию, установленную на колесном вездеходе, шифр этой станции я когда-то помнил, теперь за ненадобностью забыл. Трофей считался чрезвычайно важным, поскольку «Останкино» еще не было взято, а желания выйти в эфир накопилось очень много. Надо думать, рация оказалось все-таки хиленькой, поскольку роль корабельной радиостанции «Авроры», сообщившей на весь мир о Великой Октябрьской социалистической революции, она не сыграла. Все здесь, в этой истории, как-то очевидно было мельче, а главное – мелкотравчатей, хотя «вожди» и старались следовать своим великим учителям. «Что стоит революция, которая не уме-

ет защищаться», – это с одной стороны, и «Ошибка коммунаров была в выборе тактики обороны» – это с другой стороны.

Справа от выхода из здания Дома советов, в таком дворцовом закутке, выстроились сотни две солдат внутренних войск, перешедших на сторону парламента. Какой-то важный чин читал им Указ Председателя Верховного Совета Российской Федерации и и.о. президента Российской Федерации. Указ-покупка, точно такой же, как и у президента, в этом указе солдатам, пришедшим защищать конституцию, было обещано, что за выполнение своего долга, по окончании сложившейся ситуации, они все будут демобилизованы.

Кого из них в целлофановых мешках увезут послезавтра в крематорий?

Я внимал читавшему Указ. Ко мне подошел какой-то чмур с автоматом. «Вы что здесь делаете?» – «Слушаю Указ!» – «Проходите, проходите, здесь нельзя». И я не стал спрашивать, что нельзя, кому нельзя, даже если бы у меня тоже была возможность упереться ему в брюхо автоматом.

Баррикадки вокруг парламента опустели, хотя часть и сохранила свое краснознаменное оперение.

Пришлось, хоть и с изрядным опозданием, ехать к черту на рога, в Бабушкинский район.

Вечернюю фазу гражданской войны, столь долгожданной для обеих воюющих сторон, я наблюдал по телевизору.

И все-таки понять что-то было совершенно невозможно.

Чем располагал парламент? Шайками, отрядами, группами не больше роты.

Чем располагал президент? Клятвой на верность, готовность защищать свое право на должность министров обороны, безопасности, внутренних дел.

Генеральный штаб, министерство обороны не отвечают ни на один телефонный звонок, не отвечают ни на один вопрос корреспондентов. У министра свой интерес, в случае победы Верховного Совета он тут же летит на свалку, генералы допускают такое же развитие событий и не спешат высказать свою солидарность с эксцентрическими политиками.

Да, перед Указом № 1400 президент произвел назначе-

ния преданных людей, заручился поддержкой министерств-силовиков, но не учел, что они лишь вершина пирамиды. Настроение и состояние низов было для него несущественным, куда важнее настроения и позиции ближайшего своего окружения.

Сидение парламента в берлоге еще как бы не давало повода для его физического уничтожения. Завтра – совещание субъектов Федерации, уже заявивших о своей поддержке парламента, значит, надо сделать так, чтобы поддерживать было некого.

Расчет президента и догматически понятые цитаты из Ленина, ставшие руководством к действию вице-президента и его единомышленников, сложились в ту картину, которую мы получили на следующее утро.

Для меня утро 4 октября началось с орудийной канонады, она-то меня и разбудила. Я ночевал на улице Алексея Толстого, по прямой до Красной Пресни километра полтора, не больше. Слышимость превосходная.

Потом я буду читать заметки Л. Ефимовой «Две недели в Доме советов». Она скажет о том, как страшно было услышать первый пушечный выстрел в 14 часов. «Было очень страшно, когда первый раз услышали выстрел танковой пушки. Здание содрогнулось». Содрогаться ему придется весь день, поскольку боекомплект привозили дважды, а «плевательница» у Т-80 и Т-82 это вам не старушка «Авророва», образца прошлого века. Танковая пушка, ведя действительный огонь практическим снарядом, способна решать широкий спектр задач. Думали ли конструкторы и умельцы, создавшие этот шедевр, что их детище будет громить набитый людьми большой дом в центре Москвы, расчищая дорогу в новый парламент Жириновскому, прокладывая путь конституции Ельцина-Жириновского? Говорят, по плодам узнаете о делах их. Ждать пришлось недолго, всего-то два месяца.

Я посмотрел на часы. Начало восьмого. Кроме округлых тугих пушечных ударов уже можно было различить и чечетку крупнокалиберных пулеметов. Стало быть, дело серьезное. С улицы крик: «На Белый дом они пошли».

Пошел и я.

В 8.10 я был на площади Восстания. Почему-то на ней было полно автобусов, а внизу, на Пресне, шел бой.

Я снова дошел до Большого Девятинского. Никаких застав, никакой ограды. Утро было безветренным, и серый дым, почти неподвижный, стоял там внизу, где вчера были опереточные баррикадки. Дым был едва прозрачен, как бывает в сильно накуренной комнате, особенно для человека, вошедшего с улицы.

Музыкальный слух у меня неважный, когда я слышу оркестр, я не слышу нот, у меня нет дирижерского слуха, позволяющего комментировать каждую взятую ноту, но вот в эти первые минуты у спуска вниз по переулку я слышал не «музыку» стрельбы, временами захлебывающейся, обвальной, я слышал каждый отдельный выстрел и видел каждую пулю, каждый снаряд, четко различая все инструменты – «калаши», «горюновы», танковый «Утес», бэтеэровские скорострелки и, конечно, танковые басы. Зная танк не только снаружи, я знал, естественно, что танковый огонь нельзя ни видеть, ни осязать. А стрелять из танка проще, чем из пистолета, даже в руку не отдает, просто нажимаете клавишу электроспуска или кнопочку на рукоятках стабилизирующего устройства.

Пока я стоял здесь, наверху, на тротуаре Садового кольца, и видел первый в жизни бой, ни о каких тонкостях военного дела и мыслей не было. Я действительно слышал каждый выстрел в этом обвале, подсознательно понимая, что автоматная пуля – одна смерть, удачный выстрел из гранатомета может и двоих-троих положить, ну а уж Т-80 – тот «накрошит».

Однако, ужас человеческий организм больше двух-трех минут переживать не в состоянии. Я пошел вниз, поймав себя на мысли, что дышу как бы в полдыхания, как дышат в покойницкой, в морге, боясь вдохнуть запах смерти. Это было, конечно, смешно с моей стороны, но, как я теперь понимаю, последовательно, мне же действительно казалось, что каждый выстрел несет смерть, а их прозвучало уже едва ли не несколько тысяч. Внизу по переулку жались к фонарным столбам, деревьям, уступам зданий привлеченные боем люди. Почти никто не разговаривал. Американский телекомментатор хотел, чтобы оператор снял его на фоне Дома советов, на башне которого развевались укрепленные по углам и царские, и российские, и даже два военноморских флага, андреевский и советский. Американец

выскочивал из засады, давал команду оператору и начинал быстро говорить в микрофон по-английски: «Я нахожусь в Москве, вы слышите автоматный и артиллерийский огонь...» И тут, после крохотного затишья, с новой яростью вспыхивала пальба, и говорливого американца мгновенно вдувало в свое укрытие за деревом. Пока еще пули здесь не летали, но все равно было не по себе. Раза четыре пытался запечатлеть себя отважный телекомментатор на фоне сражения, но больше двух фраз сказать не успевал, всякий раз повторяя одни и те же слова с одинаково восторженной интонацией, не меняя ни звука.

В восемь тридцать оттуда, снизу, где стояли бронетранспортеры, развернутые носами в сторону парламента, и где прятались солдаты, раздался крик: «Врача! Врача!» Прятавшиеся за машинами, деревьями и столбами люди передавали призыв друг другу, но вскоре он утонул в обвальном грохоте огня. Посыпались стекла из серенького здания слева, что-то вроде хрущевской скороспелки. Огонь стих разом, как по команде. Трое солдат, тяжело одетых в ватные куртки, да еще прикрытых бронежилетами, в касках, каскетюлями возвышавшихся над зимними шапками, с автоматами и подсумками, прибежали к нам за помощью для раненого. Распаренные лица, красные, с потеками пота, с какими-то пустыми, невидящими глазами, они на выдохе повторяли: «Носилки... Носилки...»

Бросить людей в бой, в огонь без боевого обеспечения, а медицинская служба, как знает любой военный, неотъемлемая составная боевого обеспечения... Сволочи! Сволочи! У них свои дела, а каштаны будут таскать вот эти...

Пока трое солдатиков искали носилки, снизу уже потащили раненого. Четверо штатских парней, те самые, кто будет назван зеваками, пришедшими насладиться побоищем, задыхаясь и обливаясь потом быстрым шагом тащили на руках раненого бойца. Там, под огнем, его даже не раздели, так и несли с двенадцатикилограммовым бронежилетом, в каске, сапогах и теплой куртке. «Ребята... – задыхаясь, хрипели мужики, – подмените!»

Тут же раненого приняла новая четверка. Кто-то бросился на Садовую то ли ловить, то ли вызывать «скорую помощь».

Эвакуацию раненых и убитых взяла на себя публика.

Какие-то молодые люди спроворили «рафик», и когда снизу прибежал боец за помощью, «рафик» задом съезжал по переулку на линию огня, к бронетранспортерам, там грузили раненого (убитого?) в машину и она, срываясь с места, летела вверх.

После долгих переговоров удалось найти водителя и уговорить прикрыть челночные броски микроавтобуса военным грузовиком «Урал», стоявшим чуть в сторонке. Теперь уже «Урал» пятился задом вниз, за ним полз «рафик», готовые к броску молодые люди сидели под откинутой дверкой, свесив ноги, крепко держась, за что удастся, чтобы не слететь от толчка или удара под колеса.

Откуда столько грохота, столько огня?

В здании Дома советов нет-нет да и заметишь в каком-нибудь окне помигивание красной лампочки, мерцающий красненький огонек, это бьет «калашников». На башне дома попыхивает дымком скорострельный противопехотный гранатомет, думаю, типа «ромашки». Его гранатки долетают до «наших» бронетранспортеров, бьет метко, хотя вреда технике они нанести особенного не могут, броню они не берут, но осколками разят нещадно.

А потом будут и вертолеты, и пожар на седьмом этаже здания мэрии, который никто не будет тушить, будут приезжать на черных «волгах» двойники Баранникова в черных плащах с погончиками, осмотрят позиции, не вынимая рук из карманов, неторопливо поднимутся черной стайкой человек в шесть к своим прижавшимся к дому легковушкам и укатят. Потом появятся какие-то мужики вполне дачного вида, в свитерах, куртках и кроссовках, но с оружием и боеприпасом. Кто-то скажет, что это «штурмовики», специально одетые в гражданское, чтобы в здании их приняли за своих.

Много будет всяких событий крошечной войны на Девятинском переулке и в прилегающем к нему дворе, где окруженный спецназовцами крупного калибра мужчина в черном опять-же плаще будет по радию именовать себя «71-м», будет что-то указывать и выговаривать «72-му» и отыскивать в эфире какого-то Владимира Ильича.

Уже в девять часов я видел собственными глазами бойцов, штурмовавших Дом советов, прямо под цоколем здания. Кажется, сейчас, с минуты на минуту грянет наше

славное русское «Урал», и никакие «калашниковы», никакие «горюновы» и «ромашки» не сдержат натиск бронированной техники, в гиперболических количествах собранной вокруг Белого дома. А если пустить танк с дымовой завесой, то из окон Белой крепости вообще ни шиша нельзя будет увидеть. И танк мог пройти совершенно безопасно, если едва прикрытые броней БТРы с чувством полной безнаказанности вели по Дому советов огонь с открытых позиций. Такие вольготные условия стрельбы, как шутят в армии, бывают только на расстрелах.

Почему этот расстрел длился до глубокой ночи?

Из того, что мы знаем сегодня о действиях войск против «Белого дома», а знаем мы все, потому что бой шел на наших глазах, задачи – взять объект в кратчайший срок с минимальными потерями – не было. Значит, нужна была бойня.

Несмотря на море огня, фейерверками разрывов и трассирующих очередей расцветивавшее небо над столицей почти до двенадцати часов ночи, потери с президентской стороны равны нулю, вся его команда цела и здорова, как никогда, и можно радоваться от всей души еще и тому, что парламент в полном своем составе жив и так же отменно здоров, хотя Хасбулатов и выглядел третьего числа тяжело больным человеком, но не по причине воздействия на организм пуль со смещенным центром тяжести или танковых фугасов.

Мне все время говорят о том, что не было альтернативы, и, не набив горы трупов, народам России, говоря в духе современных политиков, век свободы не видать.

Но нам говорили, что нет альтернативы и для сокрушающей экономику, науку, культуру программы «возрождения России», а теперь эти же безальтернативщики, как я уже говорил раньше, затаили другие песни.

Ну что ж, не по словам судить, а по делам, а дела по результатам, только так видеть и только так составлять свое мнение о том, что с нами делают.

Может быть, я не прав, может быть, мое сравнение покажется грубоватым, но, объясняя самому себе сложившуюся ситуацию, я сравниваю остатки партократии со вшивостью, а вошь, кстати сказать, политических ориентаций не придерживается, потому и признаки этой вшивости я вижу в делах и помыслах, в манерах обращения с

людьми у тех, кто несет самые разные знамена, не только красные.

Радикальным средством борьбы со вшивостью является стрижка и мытье головы, но когда общественные санитары требуют вместе с волосами скальп, а получив скальп, начинают еще и мозги вышибать...

Да за кого ж они нас принимают?

...шаза. Я с
яды митингующих. Чтoбы своей организованностью и волей
предотвратить столкновение людей с полицией, уберечь жизнь и
здоровье наших сограждан.
Я обращаюсь к ветеранам и действующим офицерам армии и
флота с просьбой поддержать акции протеста. Офицерская честь
не может молчать, когда долг зовет на выручку нашей стране и
ее народу. Прошу всех сохранять бдительность и осторожность,
не поддаваться на провокации, не допустить кровопролития.
Взгляды всей страны обращены сейчас на пяточок московской
земли вокруг Дома Советов, окруженный колючей проволокой,
бронетехникой, тысячами и тысячами вооруженных солдат.
Все на борьбу с диктатурой! Не оставим Ельцину даже
самого малого шанса подмять под себя Россию!

Исполняющий обязанности Президента
Российской Федерации



A. ПУЧКО

Москва, Дом Советов
2 октября 1993 года

Из бумаг, подобранных М.Кураевым
в Белом Доме.

Андрей Синявский

ТАК НАЧИНАЛАСЬ СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Мне сегодня тяжело: почти вся русская интеллигенция за Ельцина, а я – против. А это трудно и стыдно – быть одному, и я бросаюсь к близкому другу, к доброй знакомой, к прохожему: ну как же так? Неужто вы не знаете, что не имеет права президент страны нарушать закон? И слышу в ответ: значит вы за этот гнусный Верховный Совет, за омерзительного Хасбулатова, за коммунистов и красно-коричневых?

Да нет, кричу я во сне, я сам всю жизнь ругался с этой мастью, но... не смеет Ельцин распускать Верховный Совет. А если с ним нельзя было работать? - возражает московский друг, и я, в который раз, пытаюсь достучаться в родную душу.

Каков народ, говорю, таков у него и парламент. И как в Отечестве нашем попадают очень даже замечательные люди, так и в Верховном Совете были правозащитник и лагерник Сергей Ковалев, например, или легендарный адвокат Борис Золотухин (список можно продолжить). Поэтому любой вновь избранный в России парламент будет таким же дурным, а любой назначенный совет - не будет парламентом. Между тем, без президентов демократии еще бывают (английская, скажем), а без парламента – нет.

Что же до коммунистов и других красно-коричневых патриотов, то я принимаю только один способ борьбы с ними: не голосуйте за них, и пусть они провалятся на очередных выборах, но если ваши соотечественники отдают сердца этим партиям, научитесь уважать право любого человека на собственное мнение.

Я ненавидел газету «День», презирал «Правду» и брезговал «Литературной Россией», где, кстати, почетные славянофилы объявляли меня русофобом и предлагали поступить со мною как мусульмане с Салманом Рушди. Я много лет положил на полемику с русским национализмом, с "Памятью", с Шафаревичем. Но сегодня я готов заступиться за своего врага, ибо в опасности моя самая любимая женщина – свобода слова. Неужели я больше христианин, чем все вы?

Я слишком хорошо помню, как терялись Россией декларируемые в 17 году свободы, как закрывались неугодные газеты, вводилась цензура, запрещались оппозиционные партии, а интеллигенция, моя любимая интеллигенция все оправдывала, и сам Сталин ездил попить чайку с Горьким и обсудить, что же делать дальше? «Если враг не сдастся, его уничтожают», – прошепел великий старик.

Друзья не соглашались: это, говорят, временно, вот, говорят, придадим оппозицию и начнется демократия, но ведь Ленин, напоминая, прикрывал газеты тоже временно, и нет ничего более постоянного, чем временные постройки... Так почему же я против Ельцина? Потому что в этом противостоянии двух сил (кстати, напоминая, что во время августовского путча они были вместе - Президент России и его Верховный Совет) не должно было быть победителей. Уйти с политической арены должны были обе стороны, ибо искусство управления включает в себя, помимо прочих достоинств, мастерство компромисса, талант сотрудничества. Победа в данном случае одной стороны (любой) - это поражение демократии. А победа ценой такой крови – преступление победителя.

Но может быть я слишком резок? Может быть он сделал России столько добра, что мы должны закрыть глаза на некоторую, так сказать, узурпацию власти? И память невольно сравнивает популярного у моих друзей Ельцина и непопулярного Горбачева. И мы опять спорим, и я загибаю пальцы. Что сделал Горбачев? - вспоминаю я. Войска из

Афганистана убрал? – раз! Свободу слова подарил? – два! Восточной Европе освободиться позволил? Свободу Сахарову и другим политзаключенным вернул? С холодной войной покончил? – пять! В пределах, казалось бы, одной руки, но как это было много и важно, тем более, что он был, в сущности, первым большевистским реформатором и разрушителем проклятой системы. Но интеллигенция, получившая из рук Горбачева свободу, дружно его невзлюбила, что вполне укладывается в наш национальный характер и формулу «никакое доброе дело не остается безнаказанным». В нашей истории такое уже бывало: стоило царю Александру II освободить крестьян, как русские интеллигенты тут же устроили на него охоту и не утомонились, пока не прикончили. Сегодня почти все сердца отданы Ельцину. Почему? За что? Какие за ним добрые дела? Он пришел на расчищенное (или полурасчищенное) горбачевской командой поле и посеял на нем экономическую реформу Гайдара. Урожай? Падение общего уровня жизни в стране (по самому скромному подсчету) в 20 раз. Подавляющая часть населения отброшена на паек военного времени, а на фоне такого массового обнищания сколачиваются миллионные состояния разнообразных мафиози этого колоссального черного рынка. Но экономические реформы Ельцина-Гайдара привели и к серьезным политическим последствиям: если еще осенью 91 года коммунисты и патриоты кучковались по углам и были фигурами в основном комических, то сейчас их популярность заметно возросла - еще бы: они опять становятся народными заступниками.

Сегодня происходит самое для меня ужасное: мои старые враги начинают иногда говорить правду, а родное мне племя русских интеллигентов вместо того, чтобы составить хоть какую-то оппозицию Ельцину и этим хоть как-то корректировать некорректность его и его команды правления, – опять приветствует все начинания вождя и опять призывает к жестким мерам.

Все это уже было. Так начиналась советская власть.

«Независимая газета», 13 октября 1993



В. Максимов
А. Синявский
П. Егидес

ПОД СЕНЬ НАДЕЖНУЮ ЗАКОНА...

На днях мы, давние оппоненты, чтобы не сказать проще – многолетние враги, сели за один стол. Сели не потому, что по-христиански простили друг другу, а потому, что в жизни каждого человека есть ценности, которые ему дороже самого себя, своих бессонных ночей, смертельных обид и отчаяний. Ценности эти – Родина и Свобода. Сегодня они в опасности.

Инициатор и посредник этой встречи водил сияющим глазом и приговаривал: «Вот так бы Руцкому с Ельциным», а на столе лежала газета «Сегодня», где в редакционной врезке к статье «Буду резать, буду бить» (какие светлые, однако, перспективы...) было написано: «Городу требуется не трубка мира, а ЧК». А через несколько абзацев: «Какие еще нужны доказательства? К чему, пардон, эти формальности буржуазного судопроизводства? ЧП чтит дух, а не букву закона». Газета была не красная, не коричневая, не «День» или «Пульс Тушина», а самая что ни на есть прогрессивная, либеральная и демократическая. Несколькими днями раньше 42 известных литератора в «Известиях» заявили: «Хватит говорить... Пора научиться действовать. Эти тупые негодяи уважают только силу». Среди литераторов не было ни Проханова, ни Проскурина. К жестким мерам призвали самые достойные люди – сплошь демократы и гуманисты, духовные наследники великого поэта, который любезен нам помимо всего прочего тем, что «милость к

падшим призывал». Обратите внимание – к «падшим», – т.е. к тупым негодьям и нераскаянным грешникам тоже.

Это нагнетание жестокости живо напомнило нам рецепт по благоустройству Родины одного старого эмигрантского писателя.

– Я знаю, – сказал он, – что надо сделать, чтобы в России все стало хорошо: надо повесить всех коммунистов.

– А вас не смущает, что их 16 миллионов? – спросил тогда диссидент и правозащитник Борис Шрагин.

Но писателя это не смутило. И, разумеется, о том, какая часть нации опять уйдет в палачи и вертухаи, чтобы перевешать эти миллионы, он тоже не задумывался. Тем более, что и разговор был лирический, теоретический и неформальный.

Сегодня в стране случилось страшное: танки, пушки, стрельба, жертвы, победители и побежденные. Газеты полны благородной ярости: фашизм не пройдет! Фашисты – это, естественно, побежденные. А победитель – наш любимый вождь и Президент. Ура.

Почти единодушно российская интеллектуальная элита поддержала Ельцина, и никто не сказал: «Господин Президент! Почему вы стреляли в свой народ? Верховный Совет плохой? Так это ваш Верховный Совет, это парламент вашего народа и другого народа у вас не будет. Потому что вас выбирали Президентом Всея Руси, а не только своей команды. Господин Президент! В вашем конфликте с Верховным Советом виноваты как минимум обе стороны, и может быть больше виноват тот, у кого больше власти».

Предвидим возражения. А Останкино? Штурм? Кровь?

В ответ мы спросим вас, братья по разуму: что бы случилось, если бы вышел Верховный Совет в эфир со своим дурацким парламентским часом и кто-нибудь прокричал с экрана что-нибудь непотребно-призывное? Сколько жизней было бы спасено. Что вам дороже – человеческие жизни или коммунистические принципы? Ибо патологическая боязнь неугодного слова – это и есть сталинизм. Неужели вы все – коммунисты, ибо кто, кроме них, готов был заткнуть рот оппоненту любой ценой: умрем, но не уступим, а заодно еще не одну сотню народу положим...

И наконец – не забудем, что трагедия началась с президентского указа, и спросим хотя бы себя: неужели глава государства настолько близорук, что не мог рассчитать последствия, когда нарушал закон по которому стал Президентом? И каков в этих событиях процент президентской близорукости, а каков – расчета? Но не называется ли такой расчет провокацией?

И еще – откуда появилось это странное убеждение, что демократия – это Ельцин и ничего, кроме Ельцина. Живут себе народы разных стран, Франции, скажем, или Германии, без всякого Ельцина, но вполне при демократии... И опять же – без президентов демократии бывают, а вот без парламента, без независимого суда, без свободы печати и неприкосновенности личности – нет.

Мы не защищаем Верховный Совет. Иногда он бывал ужасен. Но это был пока что первый, понимаете – ПЕРВЫЙ – Парламент России, избранный на альтернативной основе. Хорошо англичанам: у них этой, как говорил товарищ Ленин, «говорильне» уже почти 800 лет. Было время подучиться. А нам, что делать нам, если плохо умеем? Отказаться от этой идеи? Прикрыть по указу? Отключить свет и канализацию? Но даже Хасбулатов имеет право есть, пить и спускать за собой воду.

Во всем цивилизованном мире отношения президента и парламента регламентируются не личными симпатиями, а только законом. Вот французский президент может распустить Национальную Ассамблею, а американскому конституция такого права не дает, и если Клинтон завтра замахнется на Конгресс – мы не завидуем Клинтону. Свое Лефортово ему обеспечено. Ибо, как сказал поэт, обращаясь к владыкам:

Склонитесь первые главой
Под сень надежную закона...

Надеемся, все знают, чей стих? А ведь мальчишка был, сопляк восемнадцатилетний, но как четко, как чеканно сформулировал, что надо России...

Поэтому не перевыборы. Только отставка. Монастырь. Грехи замаливать.

«Независимая газета», 16 октября 1993

Олеся Николаева

ПАРИЖСКИЕ ПОСИДЕЛКИ

**Рецензия на одну из писательских коллективов
(Владимир Максимов, Андрей Синявский,
Петр Егидес: «Под сень надежную закона»)**

Теплым парижским октябрьским деньком за столиком в кафе «Сара Бернар» приятно побеседовать трем российским людям. Догадайтесь с трех раз – о чем это говорят три русских интеллигента, сошедшиеся за чашечкой кофе или бутылочкой водки? Ну естественно – о судьбах России, о ее прошлом, будущем, настоящем. Ум бурлит, обличает и благодушествует, грезит наяву и парит в вымысле. Ах, фантазер, он всегда как-то особенно разгорячается и оттачивается в разговорах о том, что надо было бы делать и чего не надо было бы, в то время как события, о которых речь, уже минули и происходили не с тобой, а с кем-то другим. Впрочем, эта милая стратегическая сослагательность, распоряжающаяся реальностью по своему собственному усмотрению, похожа на игру, в которой картонные фигурки послушно передвигаются по мановению пальцев, так что

играющий всегда выносит из нее чувство глубокого удовлетворения, ибо неизменно оказывается в выигрыше.

Подобным же образом славно поиграли на днях Владимир Максимов, Андрей Синявский и Петр Егидес, «давние оппоненты, чтобы не сказать проще – многолетние враги». Действительно, пикантно вышло: еще полгода назад Владимир Емельянович неприлично поносил Андрея Донатовича, обзывая его агентом КГБ. Его жертва куда более сдержанно и пристойно отвечала ему той же картой* и, нырнув под «сень надежную закона», подала на него в суд. И вот сегодня они усаживаются за один стол, но, как признаются, «не потому, что по-христиански простили друг другу»; и, стало быть, разговор разговором, но каждый из них уверен, что один из его собеседников по части мировых ценностей – родины и свободы – агент *зэбухи*. Абсурд, конечно. Но для игры – сойдет.

Хотя следить за ее ходом скучно – в России ее слишком давно знают... Все в ней вычисляемо, даже цитаты из великого поэта про «милость к падшим» и про «сень надежную закона». Цитатник зачитанный, *с направлением*. Приятный гуманитарный разговор, застолье как застолье...

Философ Георгий Федотов выделил два основных отличительных признака нашего брата: беспочвенность и идейность. Иными словами – произвол тенденциозного ума над действительностью, теория, опередившая опыт. И полное ослепление ко всему, что не влезает в рамки собственных умозрительных выкладок. Иначе чем можно объяснить столь легкомысленные вопрошания наших парижских друзей: «...Мы спросим вас, братья по разуму, что бы случилось, если бы вышел Верховный Совет в эфир со своим дурацким парламентским часом и кто-нибудь прокричал с экрана что-нибудь непотребно-призывное?..» Братья по разуму, нарушая приятственную легкость беседы, лягнули бы в ответ: «Что значит в контексте происходившего в Москве 3 октября это ваше игривое "дурацкий парламентский час" и шаловливое "что-нибудь непотребно-призывное"? Понимаете ли вы, что, если бы те, кто охранял "Останкино", кратко, по-толстовски, с «милостью к пад-

* Ну, не совсем той: все-таки А. Синявский В. Максимова агентом никогда и нигде не называл (прим. ред).

шим» в сердце сложили оружие перед взбунтовавшейся толпой и боевиками Макашова, оснащенными бронемашинами и гранатометами, и коммунисты, прорвавшись в эфир и блефуя тем, что они взяли власть, всколыхнули бы всю провинцию, началась бы страшная, затяжная, кровавая гражданская бойня... Все понимали, что во-вот начнется страшная рубка, в которой никому не удастся остаться «над схваткой». Разве что тем, кто пребывает «в прекрасном далеке».

Руцкой еще накануне грозился расстрелами тем, кто не повинуется его приказам, а к тому моменту вызывал боевые самолеты в Москву. Кто-то в «Белом доме» мечтал вслух, как после победы будут возить Ельцина, словно лютого Емельку, в клетке по всей стране. Нет, это не что-то такое просто «дурацкое» и не «что-нибудь непотребно-призывное». Это – океан крови, тонны человеческого мяса, расстрелы, казармы, лагеря. Именно потому, что «человеческие жизни дороже, чем коммунистические принципы», презируемая парижским гуманистами российская интеллектуальная элита, для которой всегда считалось хорошим тоном оставаться в оппозиции к власти, в тот момент ринулась защищать президента. Защищать страну, ее культуру, ее свободу.

Только какая-то особая изощренная пикантность мысли может выдумать такой перевертыш, в котором померещится вдруг, что защита от рвущихся к власти агрессивных, вооруженных коммунистов и есть коммунизм, а сопротивление надвигающемуся сталинскому режиму и есть сталинизм. Только в расслабленности безответственной словесной игры может напомнить неразумным бывшим соотечественникам, что, дескать, живут же Германия и Франция без Ельцина – и ничего, демократия.

Только в ослеплении от собственных эскапад можно не утруждать себя очевидностью того, что в те часы альтернативой Ельцину в России был Сталин. И без вариантов. Недаром сторонники парламента несли во время своих демонстраций не портреты Руцкого, а портреты усатого вождя!..

*«Московские новости»
(Печатается с сокращениями.)*



М.Розанова

УРОКИ ХРИСТИАНСТВА

У меня вопрос к Олесе Николаевой: почему именно эта «коллективочка» стала предметом возмущения, а не статья Синявского solo, или Глеба Павловского или, скажем, Александра Кабакова, или Людмилы Сараскиной?

А потому что – с Максимовым! Как это так? И как мог Андрей Донатович, поруганный и оклеветанный, со своим обидчиком за один стол сесть? Враги должны враждовать! Всегда! До гробовой доски! Никаких компромиссов! Никакого прекращения огня! Никогда! Ни на час! Ни на день! Ни на неделю! Стоять насмерть! зуб за зуб! Даже два зуба! А еще лучше – всю челюсть! Вы враги? Вот и работайте врагами, чтобы нам лишний раз не задумываться, чтобы все размещалось по раз навсегда отведенным полочкам. И вообще: вы там в кафе сидите и о чем-то странном разговариваете, а мы тут догадывайся, почему вы не убили друг друга, как вам положено по штатному расписанию?

И не приходит в голову поэту Олесе Николаевой образ лесного пожара, когда бежит рядами всякая живая тварь и никто никого не ест - не до того. А разве 21-го сентября не загорелось в нашем диком лесу? И разве не подливали на наших глазах в этот костер керосинчик? Может быть давние враги потому и сели за один стол, чтобы самой неверо-

ятностью сочетания своих имен показать, как серьезно происходящее?

И дипломат Олеся Николаева (а любая женщина – дипломат, иначе как проживешь между детьми, мужем, стариками...) не подивилась этому уроку компромисса, который преподнесли застарелые враги. Свидетельствую: Синявскому было очень трудно идти на эту встречу, но вы думаете Максимова было легче? Ведь обидчику всегда хуже...

Но всего удивительнее мне церковница Олеся Николаева. Я понимаю гнев безбожника Эткинда, Ефима Григорьевича: мол, де, как же так: он вас, а вы с ним? Что с него, атеиста иудейского, возьмешь? Но в лоне нашей православной веры, как мне кажется, следовало только радоваться: а вдруг эта вражда пойдет на убыль? Пусть даже не пройдет совсем, а хотя бы уменьшится? Может быть от этого в мире станет на одно зло меньше? Или на ползла? На четвертушку? И тогда легче будет входить добру, – самому большому сегодня дефициту в стране.

Позвольте небольшую историю о добре и зле. Был среди моих добрых знакомых церковный писатель Анатолий Эмануилович Краснов-Левитин. Писал он много, запоями, не в силах оторваться от пера и бумаги, и все написанное приносил в мой дом, где я поставила небольшую типографию и принимала заказы на печать. Поэтому около десятка последних книг Краснова-Левитина были сделаны моими руками. И вот однажды я напечатала очередное его сочинение, и счастливый автор приехал забирать тираж. Входит радостный и давай объяснять мне, какая я прекрасная, как замечательно я устроила типографское дело и что я настоящая русская купчиха. Я возражаю, говорю, что слегка дворянского звания буду, а он все свое: купчиха, купчиха. Я опять возражаю, нет, говорю, это Буковский у нас купец: смотрите, как ловко торгует звоном своих кандалов, а я у станка офсетного стою, тяжелым мужским трудом зарабатываю. А Краснов не унимается: купчиха, радуется, купчиха!

И тут происходит нечто чудовищное: я чувствую, как от ярости у меня кровь глаза застит, в головочке мутится и я воплю кошачьим мявом: «Пошел вон из моего дома!!! Вон! Вон!» «А как же мои книжки?» – послышалось сквозь кровавый туман и с криком «Книжки? Вместе с книжками –

вон!» я стала вышвыривать из дому на улицу привезенные из переплетной пакеты. Сцена была редкостного безобразия, один из пакетов упал в фонтан перед домом, присутствовавшие при этом сотрудники типографии срочно вызвали такси, куда погрузили старика и его добро, и никогда бы я про этот свой позор не рассказывала, если бы не телефонный звонок вечером.

– Машенька, – сказал мой старый учитель (а надо добавить, что когда-то давно он несколько месяцев преподавал мне литературу в 9-ом классе 235 московской школы) – простите меня: я наверно очень вас обидел, если вы так кричали...

А я в телефонную трубку вцепилась, плачу, и нет сил слово сказать, потому что за всю свою жизнь (а мне хорошо идет седьмой десяток) я только один раз встретила человека, способного на, быть может, самый тяжкий христианский подвиг: смирить гордыню и, подставив другую щеку, уничтожить зло.

Ах, Олеся-Олеся! Что же это происходит? Я - сквернословка, еретичка-беспоповица, постов не блюдущая и вообще всю обрядность посылающая, рассказываю Вам, свечкодулке, о христианском смирении! Ай-яй-яй, все смешалось в доме Обломовых, как говаривал мой друг Юлий Даниэль...

Что же до «прекраснодушных парижских рыцарей», как Вы эту тройку гнедых называете, довольно прозрачно намекая, что не нам из далекого и сытого Парижска разбираться в судьбах Родины и в том, что с ней происходит, осмелюсь процитировать текст из журнала «Синтаксис» № 31, датированный 15 ноября 1991 года: «Итак, – три дня переворота, три дня эйфории, а затем начались сомнения: а демократы ли победители? Может быть они не демократы, а всего-навсего партийные консерваторы, что, конечно, лучше, чем партийные реакционеры, но за что боролись? И насколько свердловская мафия прогрессивнее днепропетровской? И можно ли грабить награбленное? И не восходят ли эти вопросы к самой природе советского государства, способного, даже разрушаясь, еще множество раз воспроизводить себя?»

ИЗ ПИСЬМА ДВУХ МОСКОВСКИХ НЕЗНАКОМОК А. СИНЯВСКОМУ

... После всего случившегося нам просто не хотелось просыпаться, было тошно и стыдно жить. Оба Ваши выступления в «Независимой» - и личное, и вместе с «врагами», - помогли нам эту «тошноту жизни» превозмочь. Помогли узнать, что не в пустыне живем, что у кого-то и с головой и с сердцем все в порядке. Помните, у Горького в воспоминаниях о Толстом? «Не сирота я на этом свете, пока...» и т.д.

Потом, немного придя в себя, огляделись вокруг (увы, ближайший круг не утешал, пришлось поискать за пределами «малого круга») и увидели:

Нормальные люди еще не перевелись. Не то, чтобы их много, но все же есть. И они тоже рады Вашей нормальной реакции на происшедший ужас и позор. Позор, потому что интеллигенция в своем подавившем нас большинстве в очередной раз опозорилась...

Но ведь, к сожалению, не такая уж это и новость. Оторопь берет, когда Солженицын на вопрос, кажется, немецкого журналиста об отношении к октябрьским событиям отвечает, что это «очередной этап борьбы с коммунизмом». Но с другой стороны, удивляться особенно нечему: как воин-дикарь, съев сердце врага, он уподобился врагу. А что говорит его враг-большевик в ответ на уличения в зверствах? «Очередной этап в построении социализма».

Для многих вчерашних «борцов за права человека» и растоптанный закон, и расстрел среди бела дня в центре города безоружных людей - «очередной этап». И голодные, роющиеся в помойках, старики, и дети, лишённые летнего отдыха и ошивающиеся все лето в пыльной Москве, и жирующие воры, и обнищавшая «простая» интеллигенция, и

уголовный менталитет, ставший общегосударственным, – все это лишь «очередной этап».

И не то чтобы это было признаком особой жестокости – нет, просто виденье мира – сугубо политическое, а не человеческое. Грубо, как у олигофренов, нарушена словесно-обратная связь. За словом «беззаконие» нет *образа*, картины беззакония. А самое печальное – за словами «кровь», «расстрел», «убитые люди» тоже нет соответствующих образов. Какие там убитые люди?! – уничтоженный враг.

Но все же завершим этот грустный пассаж тем, с чего его начали: нормальные люди, слава Богу, остались на свете, и они Вам (а также вашим «врагам» – Максимову и Егидесу) благодарны. Не то чтобы за спасение чести диссидентства (увы, после призывов Елены Боннэр не брать в плен, а стрелять на месте, и позорного бляения в защиту убийц *правозащитника* Сергея Ковалева – спасти уже нечего. Разве что личную честь, о коллективной не может быть и речи). Да нет, за скорый отклик. За хорошую реакцию, как говорят спортсмены.

И пожалуйста, не верьте, когда московские друзья уверяют Вас в том, что Вы, мол, далеко, и потому не можете правильно оценить ситуации. Это ложь, это тоже типично *политический* упрек, потому что у политиков (а наша интеллигенция в этом смысле ничуть не уступает политикам-профессионалам) «черное» и «белое» – не константа, а производная от конкретных обстоятельств, которых Вы в данном случае якобы не знаете. По этой логике надо обязательно погреться у Освенцимских печей, чтобы вынести компетентное суждение о том, благодетелен ли их жар или, напротив, вреден для здоровья. Все это бред. Не обязательно находиться рядом с беззаконием и злодейством, чтобы оценить их как беззаконие и злодейство. В конце концов, вся христианская религия, да и вся европейская культура построены на заочном сочувствии Распятому и на осуждении злодеяния двухтысячелетней давности.

Нет, «черное» и «белое» остается «черным» и «белым» и на расстоянии, и вблизи. Мы-то были вблизи... (Ах, лучше бы подальше! может, тогда могли бы говорить, а так живем с перехваченным горлом. Оно перехвачено не страхом: близко увиденным ужасом. *Такого* масштаба – первым на нашем веку)...

О ВТОРОЙ ГРАЖДАНСКОЙ письмо в закордонщину

Несколько сценок для начала:

1. Август 1991-го, число то ли 22, то ли 23. все-таки 21-е. В баре «Московских новостей» армяномудрый Андроник Мигранян что-то негромко говорит о чреде пугчей, которые теперь-то и последуют. Слова точно ложатся на мое собственное, вчерашнее «что-то еще впереди пострашнее этих трех дней», но сегодня день победы, и Андроник с его пронизательностью раздражает:

– Андроник, а идите вы на фиг!

2. Через месяц, уже в Питере. В еженедельник «Час пик» прикатили итальянцы из «Эспрессо» выпускать совместный новый журнал. Привезли «рыбу макета». Одна из полос сверстана под шапкой: «Путч № 2. Герой № 1». Ниже – Руцкой на трапе самолета с «калашниковым».

– Ребята, ну это вы хватили!..

– Да нет, просто фото хорошее...

Фото-то что надо. А личико страшненькое. Ох, не накаркали бы!

3. ...три смены отстояли. И добыли себе свободу, ну а тем – победу.

Но тут, как говорится, «или-или».

Такая вот производственная лирика. Записано в 92-м, но ощущение первых свободно-похмельных августовских деньков. Как написала газета «Смена» в августе 93-го:

«Нам дали два года свободы. Условно».

4. День похорон троих ребят с Садового кольца. В переходе на Пушкинской торговля «Пульсом Тушина» и «Днем».

– «День» продаете?

– «День».

– Последний день продаете?..

В результате оказываюсь в участке, откуда выручает меня Егор Яковлев. Выхожу на свободу с условием, что я выйду, а они, хриstopродавцы, сегодня уйдут. Хотя бы до завтра.

Хрен его знает, может, это я сам подсказал им название, чем они и воспользовались через два года, после своей веселенькой ночки с 3 на 4-е.

5. И еще дюжина сценок: звенья той логики, из которой ты исходил, когда, скрепя сердце, попугайничал с мыслящей частью своего народа: «да-да-нет-да». Сбор подписей за референдум о земле. Это ты им устроил, когда сломал сначала полубезумную парочку – Куркову да Попцова, а потом, уже по межгороду того же Егора Яковлева. И мы набрали с помощью ТВ два миллиона голосов за две неполные недели. И Невзоров впервые орал с экрана. А потом ты вез с другом эти проклятые коробки из Москвы в Питер, и сдавал в Ленсовет. А сдав, ужаснулся: Господи, что ж мы наделали?.. Два миллиона завтрашних гулаговцев. С адресами и паспортными данными из каждого города, даже поселка страны! И доступ к коробкам контролирует только тов. Хасбулатов. И еще: мартовская демонстрация 93-го года. А до этого – декабрьская 92-го. Запрещенная и малочисленная. «Интересно, возьмут вечером, или завтра?..» Назначение господина-товарища Черкесова вождем ленинградских чекистов. Выступление в прямом радио по поводу советской власти (вместе с Ниной Катерли) и закономерный вызов в Петроградскую прокуратуру по доносу радиослушателя. А на стеночке у прокурорши портретик их магистра, на фанерке.

– А чего это у вас на стеночке?

– Да вот не снимаю. Хороший человек подарил. И работа хорошая. Лагерная.

И мальчики с рацией на твоей лестничной площадке, и статейка про тебя в «вечерке» про то, как ты своими писаниями еще с «Огонька» дурачишь советский народ. И еще, еще, еще. Как хорошо в стране Советской жить! Даже без большевиков. В 93-м.

6. Россия – странная страна.

Напоминает мерина.

Не ест лет 70 она,

А все говна не меряно.

7. А фашисты все наглей. В судах оправдывают издателей «Майн Кампф» те же судьи, что судили диссиду, и те же чекисты ведут оперативную разработку тех же граждан, и Илюша Константинов в «Народной правде» назначит час грядущих классовых битв на осень, и на красный их Первой прошла недурная репетиция, и ежедневно переписывается филькина советская конституция (ах, простите, Вишневская, всего 320 поправок, а не 400), и надо быть ослом, чтобы не видеть, как ежечасно коричневеет разлагаясь красное. А этот свердловский валенок вовсе заворсел, хоть заплату заказывай.

И другого нет.

Потом – покушение на Собчака на Кутузовском проспекте. Не дорожное происшествие, как написали твои же «Известия», а хорошо сработанный таран – удар мощного «мерса» в «волгу» сзади, по касательной, выкидывающий машину на встречный поток. Не выкинуло: удар слишком сильный, колеса «волги» подломились, закрутило на месте. «Мерс» только развернулся и ушел по своим делам. Это уже осень 93-го. Ох, не к добру...

Указ № 1400. А 22 сентября Леня Кесельман проводит в Питере свой опрос. И ясно, что кровь на пороге: из военнослужащих и милиции 57% хотели бы видеть президентом Руцкого. Еще опрос через несколько дней. Руцкой уже провозглашен президентом. И смех, и грех: Александр Васильевич особенно популярен среди тех респондентов, которые не слышали о том, что он уже президентом стал.

Два президента. Пара министров обороны и гебе.

Альтернатива гражданской войны – десоветизация. Но тот, кто это начнет, приведет... к гражданской войне. Круг порочный, но стальной. Или: и стальной. Записные демократы ходят, как ударенные. Вот тем самым валенком с драной заплатой.

Это сейчас мы понимаем, что после коммунистического путча должен был последовать и советский мятеж. Разумеется, спровоцированный. Кем? Да той же логикой событий: что имели, то и поимели. А оно поимело нас. Изнаночная логика изнаночной страны – совейская страна, уже недоимперия (после Беловежской Пущи), с недопарламентом, недоинтеллигенцией и недонародом. Про недоконституцию уже промолчу, и про недопартии политические тоже.

Не страшен, а смешен был осенний призыв сорока двух литераторов, возгласивших, что президент должен обеспечивать соблюдение законов на территории страны, что фашисты должны отвечать за свои деяния по суду и т.д.

Под тем письмом и моя подпись, которую я не ставил, но от которой не откажусь. (Прочитали бы хотя б по телефону, друзья-демократы!)

А гражданская война, вторая в России за один век, она состоялась. По полному циклу, с захватом власти (всей) одной из конфликтующих политических сторон. Состоялась в два дня, но не закончилась, а была лишь загнана в свое же демсоветовское логово танковыми пушками. Голова гидры оказалась сильнее ее же хвоста, вот она собственный хвост и заглотила. И откусила. И сама же, разумеется, подавилась. Теперь корчится, ибо подышать не хочется. А не вздохнуть.

Первый признак удушья и разложения – конвульсии после октября: закономерный декабрь и закономерный январь с уходом из правительства Гайдара и Федорова. Советский президент советскими танками похоронил советскую же власть и, очевидно, самого себя. Он был лучше их, но он той же крови. Он умел когда-то говорить «Простите, люди!», но «раздавнив гадину», нашел слова лишь для соболезнования. Этого ему и не простили.

Власть в стране окончательно перешла к постсоветской бюрократии. Очень быстро она должна развалить оставшееся.

От путча – к путчу или от Пуци к Пуце?

Дальше – уже классический спад, облом к фашизму, который лишь отсрочен танками 4 октября. Ельцин варварским способом чуть отодвинул то, что уже состоялось в Москве вечером 3 октября, когда власть уже фактически была у красных Хасбулатова, Рудкого и Макашова и коричневых Константинова и Баркашова. «Танкотерапия», как это ни отвратительно, помогает лишь в пиночетовском случае: после нее надо становиться диктатором и под улюлюканье всего мира приниматься за экономику, готовя почву для постепенного выздоравливания страны, а для себя готовя хороший пук мягкой соломки, ведь ответственность за двадцатилетие диктатуры тоже будет на тебе.

К такому Ельцин был не готов. (Это мы почему-то всегда знали.) Войлок – вообще-то материал мягкий.

Как умело этот человек провел декоммунизацию России, потом распустил империю. И утратил харизму на десоветизации страны. На этом он и надорвался, исчерпал моторесурс, сломался как политик и сломался по-человечески, став одной из трагических фигур русской истории. Диктатора из него уже не получится, так что наша Вишневская может не бояться. Сегодня Ельцин – Брежнев сегодня. Товарищ Черномырдин куда интересней для натуралиста-политолога.

И одна крохотная надежда, кроме некрохотной, что на Господа Бога. Так вот, надежда на инерционность огромной массы России, уже пришедшей в движение здравого смысла. Нет ни партий, ни среднего класса, но под воровской посвист рождаются и учатся какие-то другие люди, что-то происходит помимо всего плохого, меняется ментальность и взрослеет нация.

И, слава Богу, пока свободны ТВ, радио и пресса.

Андрей Чернов,
ваш ельциноид, гайдараст и синтаксоидеалист.

13 февраля 1994 г.

Ю. Вишневская

С ТОГО СВЕТА С ЛЮБОВЬЮ

Письмо известного петербургского писателя и журналиста к нам, «в закордонщину», рассчитано на то, что никто из авторов и читателей «Синтаксиса» ничего из описываемого им не знает или не помнит. Если ответить на все его аргументы по существу, то от них от всех только то и останется, что автору не по нраву личико вице-президента Александра Руцкого (кстати, не «Васильевича», а Владими-

ровича). Однако, представьте себе, что получится, коли я сейчас начну разбирать послание Чернова построчно, уточняя, по чьей инициативе принимались пресловутые 320 поправок к конституции. Да кто назначил «господина-товарища Черкесова» (следователя по делам многих питерских правозащитников догорбачевской эпохи) «вождем ленинградских чекистов». Или – кто и как использовал в политической борьбе антисемитскую и расистскую риторику (вопреки широко распространенному предрассудку, отнюдь не Руцкой глумливо обзывал своих «либеральных» оппонентов «почетным гражданином государства Израиль» – это они так его обзывали). Или, начни я сейчас собачиться с ним на тему, что за «свобода» наблюдается ныне на российском телевидении (Чернов-то его не смотрит, а я смотрю. Мне за это деньги платят.) Поступить таким образом – значит обрушить на голову читателя журнала «Синтаксис» бурный поток длинных и занудных препирательств. Поэтому остановлюсь лишь на одном эпизоде. На пресловутом письме 42 литераторов.

Начиная с мая 1993 года, страницы некоторых российских периодических изданий (прежде всего газеты «Известия») захлестнул поток «открытых писем» однотипного содержания. Авторы их сурово требовали от обожаемого Президента принять жесткие репрессивные меры в отношении своих политических противников. Такого-то и такого-то (имя-рек) посадить в тюрьму, такие-то организации распустить, такие-то газеты и телепрограммы запретить, и так далее. Под этими документами красуются подписи – от одной до 42-х, в основном одних и тех же лиц. Тех же, но достаточно разных по некоторым другим параметрам. Начиная с таких авторов, кто кроме доносов, кажется, сроду ничего в жизни не написал – кончая такими, кого мы до сих пор не без основания считали цветом и совестью нации. Видных деятелей культуры. Известных правозащитников. Вопреки утверждению А.Чернова, авторы этих замечательных текстов требовали от своего вождя отнюдь не «соблюдения законов» – но, напротив, грубого их нарушения. Ибо, в соответствии с мировой практикой, российский закон не позволяет президенту ни арестовывать людей, ни заводить на них уголовные дела, ни экспроприировать личную и коллективную собственность, ни запрещать полити-

ческие партии, ни закрывать газеты или телепрограммы – словом, ничего из того, что требовали и требуют от Бориса Ельцина представители либеральной советской общест-венности. По всем законам Божеским и человеческим такие меры может санкционировать только одна инстан-ция – суд.

А теперь небольшое лирическое отступление. Я вспо-минаю весну 1989 года – ту весну, которая породила столько неоправдавшихся надежд. Первый съезд народных депута-тов СССР обсуждает кровавый разгром демонстрации зви-адистов в Тбилиси. С одной стороны – генерал И.В. Роди-онов и восторженно аплодирующее ему «агрессивно-по-слушное большинство» союзного депутатского корпуса настаивают, что подчиненным ему, генералу, воинским частям просто ничего не оставалось, как только лупить жестоковыйных грузин саперными лопатками по головам (ибо те писали не только антиабхазские, но и антисовет-ские лозунги). С другой стороны – горсточка московских и ленинградских интеллигентов доказывают, что на слово, как бы они ни было неприятно, можно отвечать только словом. Поразительно, но факт. Стоило перемениться вла-сти, как наша либеральная интеллигенция превратилась в коллективного генерала Родионова. Актеры обменялись ролями, но песку разыгрывают ту же самую. У наших демократов и либералов не нашлось никаких иных спосо-бов сосуществования с инакомыслящими – кроме как са-жать своих оппонентов в тюрьму, расстреливать их из тан-ков, да затыкать им глотку. А не то еще омерзительнее – фабриковать на своих идеологических врагов уголовные дела на основании подложных документов.

Да, некоторые (хотя отнюдь не все, и даже отнюдь не большинство) из оппонентов Чернова – действительно фа-шисты и коммунисты. Но вот что мы с Синяевскими уже полтора года безуспешно пытаемся втолковать нашим мо-сковским и питерским друзьям: **КРОМЕ АПЕЛЛЯЦИИ К ГОРОДОВОМУ, У ОБЩЕСТВА ЕСТЬ ДРУГИЕ, СВОИ СОБСТВЕННЫЕ СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФАШИСТАМ И КОММУНИСТАМ!!!**

До них, до наших друзей и вроде бы единомышленников, упорно не доходит, что выступления в жанре вышеупомянутых апелляций означает, прежде всего, отказ от идеи создания в России гражданского общества. Даже если бы меры, к которым призывают Ельцина подписанты, были законными. А призывая власть к противозаконным репрессиям – вы мостите дорогу в Лефортово и для самих себя. Вне зависимости от того, станет Ельцин диктатором или не станет. Я уже сто раз пыталась объяснить Чернову, что не в Ельцине дело. Дело в вас, наши любимые московские и питерские друзья! А не в Ельцине, повторяю, черт бы его побрал! Ельцин, может, помрет через полгода. И на его место придет другой. Что, если, например, Бурбулис станет диктатором – вам, Андрей, легче будет?

Знаете, что чаще всего мне приходит в голову в последнее время? Воспоминания Надежды Яковлевны Мандельштам. Там, в частности, есть одно место, об отношении интеллигенции к репрессиям 20-х – 30-х годов. Излагая пересуды современников на эту тему, Н.Я. Мандельштам пишет: «Всего этого казалось достаточным для ареста и уничтожения: чужой, болтливый, противный... Все это вариации одной темы, прозвучавшей еще в семнадцатом году: "не наш"...» Всю свою жизнь мы только и делали, что читали, перечитывали и обсуждали эти книги. Повести Дж. Оруэлла. Воспоминания очевидцев и жертв красного террора. Дневники. Романы. Стихотворения и поэмы. Научные исследования. Исторические обзоры. А пришел час – и выяснилось: читать-то читали, некоторые даже издавали и комментировали. Некоторые даже и сами писали – причем, совсем еще недавно, лет пять тому назад. Да толку никакого. Потому что не извлекли ни одного урока из трагической истории своей страны.



Андрей Синявский

НЕ ВЕРИТЬ – ЗНАТЬ

Я вернулся в мой город, знакомый до слез, прихватив с собою видеокассету. Швейцарская журналистка Тереза Обрехт сняла документальный телефильм «Умереть в Москве», действие которого разворачивается на кладбище, в казино, у привокзального рынка, в морге, в конторе молодых бизнесменов и на городской свалке. Это был горький и страшный фильм о том, как новый режим разделил страну на богатых и бедных – на очень богатых и очень бедных.

Я пытаюсь показать эту пленку московским друзьям: поэтам, журналистам, правозащитникам.

– Подумаешь, у вас во Франции тоже нищих навалом, – комментировали одни.

– Первоначальное накопление. Во всем мире такое было, – сказали другие.

– Мы все это знаем, – возразили третьи, просмотрев 6 минут из 50 и даже не полюбопытствовав, что будет дальше.

Поговорить не удавалось. Довод, что исторический путь из феодализма в капитализм это не то же самое, что от социализма в беспредел, – не работал. Перед поэтами я чувствовал себя старым дураком.

Горестное мое положение спасла комсомольская богиня, поспорить с которой я был приглашен в рамках круглого стола «Литературной газеты». Под монологи прекрасной дамы я, мало знакомый, но много и с интересом читавший ее старик, мысленно причитал:

– Ах, Мариэтта, Мариэтта! Ну почему ты не хочешь меня выслушать? Почему тебя совершенно не занимает противоположная точка зрения? Вот я тебя слушаю, Мариэтта, я тебя наизусть уже выучил – и про достоинства танковой палубы, и про построение капитализма в одной, отдельно взятой стране, и что добро должно быть с кулаками... А ты меня не слушаешь, Мариэтта, ты мне слова вставить не даешь, почему я тебе неинтересен, женщина с таким прекрасным именем? Мариэтта! Маргарита! Очнись! Дай мне слово сказать! Ведь я тоже человек!

И вдруг наши страстные речи высекли искру, и я вспомнил. Вспомнил давнюю, уровня 48-49 года историю. Впервые узнав, что в наших тюрьмах применяются пытки, я, потрясенный, пытался обсудить это с добрым приятелем. Но на мои lamentации приятель ответил так: «Замолчи. Не рассказывай мне об этом. Я не хочу ничего знать. Ведь если я узнаю, я перестану верить. А без веры я не смогу жить».

Интеллигенция сегодня разделилась. На тех, кто хочет знать и тех, кто желает только верить. Верить в светлое будущее, не видя, что происходит вокруг. Не повторяет ли она уже пройденный нами курс?

Большой грех – обманывать других. Но еще большая беда – обманывать самих себя.

«Общая газета», 22 февраля 1994



**ДНЕВНИК ПОМЕЩИКА ОБЪЕДКОВА;
или конец русского либерализма.**

15 июня.

Европы суетной отведав
И ей пресытившись вполне,
Я возвращен в именье дедов
Судьбою, ласковой ко мне.
Старик Ермил, открыв ворота,
Крестился мелко и рыдал:
Во мне прозрел он патриота!
И я ему полтинник дал.
Родимый дом! Портреты предков
Умильно глянули со стен.
В родном имении Обьедков!
Прощай, угрюмый Геттинген!
Крестьяне встретили хлеб-солью:
Вернулся барин наконец!
Я увлекаюсь новой ролью:
Я им хозяин и отец.
Ярем я барщины старинной
Оброком легким замену;
Овчинный дух Руси общинной
Мне должно вывезть на корню.
Я просвещенным либералом
Вернулся в отчие края.
В моем Отечестве отсталом,
Как никогда, потребен я.

17 июня.

Из Терпигорева соседка
Мне нанесла визит вчера.
Она высмеивала едко
Либерализм ет сетера.
«Пороть крестьян»... Какая низость!
«Держать в узде»... Ужасный слог!
Меж нами никакая близость
Уж невозможна, видит Бог.

А между тем я видел похоть
В ее круглящемся лице...
Вольно ж бедняжке было охать,
Со мной прощаясь на крыльце:
«Вы их распустите!» Едва ли.
Вы заблуждаетесь, мадам:
Они мне руки целовали!
(Опять же рабство. Впредь не дам).
Прельститься глупою соседкой?!
Шутить изволите со мной!
Я поражен красою редкой
Аксютки, девушки сенной.
Вечор прошел я с нею рядом
Крутой тропой к моим овсам –
И пронизал девчонку взглядом,
Какого испугался б сам.
И, прочитав такие мысли
В горящем взгляде роковым,
Неся ведро на коромысле,
Она закрылась рукавом.

19 июня.

Вчера (само собою, в шутку),
Сказав слуге, что в лес пойду,
Я увидел мою Аксютку,
Купающуюся в пруду.
Невинные, смешные прятки!
Вот раздевается... Постой!
Куда иной аристократке
До тела девушки простой!
О, груди у девчонки шалой!
Смотреть едва хватало сил.
Уж не отец ли мой, пожалуй,
С ее мамашей подшутил!
О, стройность девичьего стана!
Сдержаться стоило труда:
Она белела, как сметана,
В воде зацветшего пруда.
Но, выпрямляясь бесстыдно
(Откудаэто ей дано?!),
Вдруг закричала: «Все мне видно!
И как вам, барин, не страшно!
А говорили про слободу!
А посулили волю дать!
Чуть девушка полезла в воду -

Уже крадется, ровно тать!
Ан, вишь, слобода-то иная!
Все нынче тятеньке скажу!»
Какая дерзость!.. Но, однако,
Спешить не станем. Погожу.

23 июня.

Я ей велел прийти к амбару.
Сказала – наглый же народ! –
Что зададут мне, верно, жару
Ее отец и сельский сход;
И напоследок пригрозила,
Что уж подпустят петуха...
И луком от нее разило...
Но все же девка неплоха.

25 июня.

Свобод они не понимают,
Тупые, наглые рабы!
Крестьяне шапок не ломают
И стали явственно грубы.
И управляющий с ухмылкой
Заметил, доложив дела:
«Что церемонитесь с кобылкой?
Намедни кучеру дала!»
С Иваном?! С таким уродом?!
Держать меня за дурака?!
Нет, как ни кинь, с таким народом
Потребна жесткая рука!

27 июня.

Стучал ногами на Ермила.
Дал в ухо старосте с утра.
Дал управляющему в рыло.
Давно б – не правда ли? – пора!
Свободы годны для Европы,
А не для русских поросят.
У них народ, а здесь – холопы.
Аксютке – розог пятьдесят.
Уж я вас сделаю послушней!
Иду гулять, набив чубук,
И сладко слышать, как с конюшни
Несется «чюки-чюки-чюк».

СОДЕРЖАНИЕ

ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

- Абрам Терц.* Путешествие на Черную речку 3
Юрий Дружников. «С Пушкиным на дружеской ноге» . . 52
Булат Окуджава. Несколько сцен
из провинциальной пьесы 73
З.Зиник. Личное дело врачей 87

В САДАХ РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ

- Валерий Земсков.* Арбатские ночи 99

ОБРАТНАЯ ПЕРСПЕКТИВА

- М. Розанова.* Апрельские тезисы Эд. Иодковского . . . 120
М. Розанова. Абрам да Марья 125
Ю. Вишневская. Миша Хейфец в стране дураков 152
В. Максимов. Заявление для печати 161
М. Розанова. Конец прекрасной эпохи 163

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

- Михаил Кураев.* Да за кого они нас принимают 164
Андрей Синявский. Так начиналась советская власть . 197
В. Максимов, А. Синявский, П. Егидес. «Под сень
надежную закона...» 200
Олеся Николаева. Парижские посиделки 203
М. Розанова. Уроки христианства 206
Из письма незнакомок А. Синявскому 209
А. Чернов – Ю. Вишневская. Переписка из двух углов. . 211
А. Синявский. Не верить – знать 219
Дмитрий Быков. Дневник помещика Обьедкова 221



Цена номера 80 фр. фр.
Подписка в редакции на 4 номера – 300 фр. фр.
Пересылка за счет подписчика.



M. R.
A stylized signature or mark consisting of a central vertical line with a flame-like top and a decorative flourish at the bottom.